

- [Эрнест Хемингуэй](#)
 - [Славное кафе на площади Сен-Мишель](#)
 - [Мисс Стайн поучает](#)
 - [Une generation perdue4](#)
 - [«Шекспир и компания»](#)
 - [Люди Сены](#)
 - [Обманная весна](#)
 - [Конец одного увлечения](#)
 - [На выучке у голода](#)
 - [Форд Мэдокс Форд и ученик дьявола](#)
 - [Рождение новой школы](#)
 - [В кафе «Купол» с Пасхиным](#)
 - [Эзра Паунд и его «Бель Эспри»](#)
 - [Довольно странный конец](#)
 - [Человек, отмеченный печатью смерти](#)
 - [Ивен Шипмен в кафе «Лиля»](#)
 - [Носитель порока](#)
 - [Скотт Фицджеральд](#)
 - [Ястребы не делятся добычей](#)
 - [Проблема телосложения](#)
 - [Париж никогда не кончается](#)
 - [Примечания](#)
-

Эрнест Хемингуэй

Праздник, который всегда с тобой

Если тебе повезло и ты в молодости жил в Париже, то, где бы ты ни был потом, он до конца дней твоих останется с тобой, потому что Париж – это праздник, который всегда с тобой.

*Из письма Эрнеста Хемингуэя другу
(1950 г.)*

Введение

По причинам, вполне убедительным для автора, многие места, люди, наблюдения и впечатления не вошли в эту книгу. Некоторые из них должны остаться в тайне, а другие известны всем, о них писали и, без сомнения, будут писать еще.

Здесь ничего не говорится о стадионе «Анастази», где ринг был в саду, под деревьями стояли столики, а официантами были боксеры. Ни о тренировках с Ларри Гейнсом, ни о знаменитых матчах по двадцать раундов в Зимнем цирке. Ни о таких близких друзьях, как Чарли Суини, Билл Берд и Майк Стрэйтер или Андре Массон и Миро. Ничего не говорится ни о наших путешествиях в Шварцвальд, ни о наших однодневных прогулках по любимым лесам вокруг Парижа. Было бы очень хорошо, если бы все это вошло в книгу, но пока придется обойтись без этого.

Если читатель пожелает, он может считать эту книгу беллетристикой. Но ведь и беллетристическое произведение может пролить какой-то свет на то, о чем пишут, как о реальных фактах.

Эрнест Хемингуэй

*Сан-Франсиско-де-Паула,
Куба, 1960*

Славное кафе на площади Сен-Мишель

А потом погода испортилась. Она переменялась в один день – и осень кончилась. Из-за дождя нам приходилось закрывать на ночь окна, холодный ветер срывал листья с деревьев на площади Контрэскарп. Листья лежали размоченные дождем, и ветер швырял дождь в большой зеленый автобус на конечной остановке, а кафе «Для любителей» было переполнено, и окна запотели изнутри от тепла и табачного дыма. Это было мрачное кафе с дурной репутацией, где собирались пьяницы со всего квартала, и я не ходил туда, потому что там пахло потом и кислым винным перегаром. Мужчины и женщины, завсегдатаи кафе «Для любителей», были всегда пьяны, вернее, пили до тех пор, пока у них были деньги, а пили они чаще всего вино, которое покупали по поллитра или по литру. Там рекламировалось множество аперитивов со странными названиями, но мало кто мог себе их позволить, разве что для начала, чтобы поскорее напиться. Женщин-пьяниц называли *poivrottes*, что означает «алкоголички».

Кафе «Для любителей» было выгребной ямой улицы Муфтар, узкой, всегда забитой народом торговой улицы, которая выходит на площадь Контрэскарп. В старых жилых домах на каждом этаже около лестницы имелся клозет без сиденья, с двумя цементными возвышениями для ног по обе стороны отверстия, чтобы *locataire*¹ не поскользнулся; эти уборные соединялись с выгребными ямами, содержимое которых перекачивалось по ночам в ассенизационные бочки. Летом в открытые окна врывался шум работающего насоса, и в воздухе распространялось сильное зловоние. Бочки были коричневато-желтыми, и в лунном свете, когда лошади тащили их по улице Кардинала Лемуана, это напоминало картины Брака. Но никто не выкачивал содержимое кафе «Для любителей», и на пожелтевшее, засиженное мухами объявление о мерах наказания, предусмотренных законом за пьянство в общественных местах, так же мало обращалось внимания, как и на дурно пахнущих завсегдатаев.

С первыми холодными дождями город вдруг стал по-зимнему унылым, и больше уже не было высоких белых домов – а только мокрая чернота улицы, по которой ты шел, да закрытые двери лавчонок, аптек, писчебумажных и газетных киосков, вывески дешевой акушерки и гостиницы, где умер Верлен и где у меня на самом верху был номер, в котором я работал.

На верхний этаж вело шесть или восемь лестничных маршей, там было очень холодно, и я знал, сколько придется отдать за маленькую вязанку хвороста – три обмотанных проволокой пучка коротких, длиной с полкарандаша, сосновых лучинок для растопки и охапку сыроватых поленьев, – чтобы развести огонь и нагреть комнату. А потому я перешел под дождем на другую сторону улицы, чтобы посмотреть, не идет ли дым из какой-нибудь трубы и как он идет. Но дыма не было, и я решил, что трубы, очевидно, остыли, и не будет тяги, и в комнате будет полно дыма, и дрова сгорят зря, а с ними сгорят и деньги, и зашагал под дождем. Я прошел мимо лица Генриха IV, мимо старинной церкви Сент-Этьен-дю-Мон, пересек открытую всем ветрам площадь Пантеона, ища укрытия, свернул направо, вышел на подветренную сторону бульвара Сен-Мишель и, пройдя мимо Клюни бульваром Сен-Жермен, добрался до кафе на площади Сен-Мишель, которое я хорошо знал.

Это было приятное кафе – уютное, чистое и теплое. Я повесил свой старый дождевик на вешалку, чтобы он просох, положил выдавшую виды фетровую шляпу на полку поверх вешалки и заказал *café au lait*². Официант принес кофе, я достал из кармана пиджака блокнот и карандаш и принялся писать. Я писал о том, как было у нас в Мичигане, и поскольку день был очень холодный, ветреный и неуютный, он получился таким же в рассказе. Я уже не раз встречал позднюю осень – ребенком, подростком, мужающим юношей, и пишется о ней в разных местах по-разному: в одном месте лучше, в другом – хуже. Это как пересадка на новую почву, думал я, и людям она так же необходима, как и растениям. В рассказе охотники пили, и я тоже почувствовал жажду и заказал ром «сент-джеймс». Он показался мне необыкновенно вкусным в этот холодный день, и, продолжая писать, я почувствовал, как отличный ром Мартиники согревает мне тело и душу.

В кафе вошла девушка и села за столик у окна. Она была очень хороша, ее свежее лицо сияло, словно только что отчеканенная монета, если монеты можно чеканить из мягкой, освеженной дождем кожи, а ее черные, как вороново крыло, волосы закрывали часть щеки.

Я посмотрел на нее, и меня охватило беспокойство и волнение. Мне захотелось описать ее в этом рассказе или в каком-нибудь другом, но она села так, чтобы ей было удобно наблюдать за улицей и входом в кафе, и я понял, что она кого-то ждет. Я снова начал писать.

Рассказ писался сам собой, и я с трудом поспевал за ним. Я заказал еще рому и каждый раз поглядывал на девушку, когда поднимал голову или точил карандаш точилкой, из которой на блюде рядом с рюмкой ложились тонкими колечками деревянные стружки.

«Я увидел тебя, красавица, и теперь ты принадлежишь мне, кого бы ты ни ждала, даже если я никогда тебя больше не увижу, – думал я. – Ты принадлежишь мне, и весь Париж принадлежит мне, а я принадлежу этому блокноту и карандашу».

Потом я снова начал писать и так увлекся, что забыл обо всем. Теперь уже рассказ не писался сам собой, теперь его писал я, не поднимая головы, забыв о времени, не думая о том, где я нахожусь, и мне уже было не до рома «сент-джеймс». Мне надоел ром, хотя о нем я не думал. Наконец рассказ был закончен, и я почувствовал, что очень устал. Я перечитал последний абзац и поднял голову, ища глазами девушку, но она уже ушла. «Надеюсь, она ушла с хорошим человеком», – подумал я. И все же мне стало грустно.

Я закрыл блокнот с рассказом, положил его во внутренний карман и попросил официанта принести дюжину portugaises³ и полграфина сухого белого вина. Закончив рассказ, я всегда чувствовал себя опустошенным, мне бывало грустно и радостно, как после близости с женщиной, и я был уверен, что рассказ получился очень хороший, но насколько хороший – это я мог узнать, только перечитав его на следующий день.

Я ел устрицы, сильно отдававшие морем, холодное белое вино смывало легкий металлический привкус, и тогда оставался только вкус моря и ощущение сочной массы во рту; и глотал холодный сок из каждой раковины, запивая его терпким вином, и у меня исчезло это ощущение опустошенности, и я почувствовал себя счастливым и начал строить планы.

Теперь, когда наступили дожди, мы можем на время уехать из Парижа туда, где не дождь, а снег падает сквозь сосны и устилает дорогу и склоны гор, где он будет поскрипывать под ногами, когда мы будем возвращаться вечером домой. У подножия Лез-Авана есть шале, где прекрасно кормят, где мы будем вдвоем и с нами будут книги, а по ночам нам будет тепло вдвоем в постели, и в открытые окна будут сиять звезды. Вот куда мы поедем. Если взять билеты третьего класса, это будет недорого. А за пансион придется платить лишь немногим больше того, что мы тратим в Париже.

Я откажусь от номера в гостинице, где я пишу, и нам придется платить лишь за квартиру на улице Кардинала Лемуана, 74, – а это совсем немного. Я уже отправил материал в Торонто, и мне должны были выслать гонорар. Писать для газеты я мог где угодно и при любых обстоятельствах, а на поездку деньги у нас были.

Может быть, вдали от Парижа я сумею написать о Париже – сумел же я в Париже написать о Мичигане. Я не понимал, что для этого еще не

настало время – я еще недостаточно хорошо знал Париж. Но в конце концов так оно и получилось. А поехать мы поедем, если жена захочет; я покончил с устрицами и вином и, расплатившись, кратчайшим путем пошел вверх по холму Святой Женевьевы к себе домой под дождем, который портил теперь только погоду, а не жизнь.

– Чудесная мысль, Тэти, – сказала жена. У нее были мягкие черты лица, и, когда мы принимали какое-нибудь решение, ее глаза и улыбка вспыхивали, словно ей преподнесли дорогой подарок. – Когда мы едем?

– Когда хочешь.

– О, я хочу сейчас. Ты же знаешь!

– Может быть, когда мы вернемся, будет уже ясная погода. Здесь бывает очень хорошо в холодные ясные дни.

– Наверно, так и будет, – сказала она. – Какой ты молодец, что придумал эту поездку.

Мисс Стайн поучает

Когда мы вернулись в Париж, стояли ясные, холодные чудесные дни. Город приготовился к зиме. На дровяном и угольном складе напротив нашего дома продавали отличные дрова, и во многих хороших кафе на террасах стояли жаровни, у которых можно было погреться. В нашей квартире было тепло и уютно. Мы клали на пылающие поленья boulets – яйцевидные брикеты спрессованной угольной пыли, на улицах было позимнему светло. Привычными стали голые деревья на фоне неба и прогулки при резком свежем ветре по омытым дождем дорожкам Люксембургского сада. Деревья без листьев стояли как изваяния, а зимние ветры рябили воду в прудах, и брызги фонтанов вспыхивали на солнце. С тех пор как мы походили по горам, нас уже не пугали никакие расстояния.

После трудных подъемов в горах мне доставляло удовольствие ходить по крутым улицам и взбираться на верхний этаж гостиницы, где я снимал номер, чтобы там работать, – откуда видны были крыши и трубы домов на склоне холма. Тяга в камине была хорошей, и в теплой комнате было приятно работать. Я приносил с собой апельсины и жареные каштаны в бумажных пакетах и, когда был голоден, ел жареные каштаны и апельсины, маленькие, как мандарины, а кожуру бросал в огонь и туда же сплевывал зернышки. Прогулки, холод и работа всегда возбуждали у меня аппетит. В номере у меня хранилась бутылка кирша, которую мы привезли с гор, и, когда я кончал рассказ или дневную работу, я выпивал рюмку кирша. Кончив работу, я убирал блокнот или бумагу в стол, а оставшиеся апельсины клал в карман. Если их оставить в комнате на ночь, они замерзнут.

Радостно было спускаться по длинным маршам лестницы, сознавая, что ты хорошо поработал. Я всегда работал до тех пор, пока мне не удавалось чего-то добиться, и всегда останавливал работу, уже зная, что должно произойти дальше. Это давало мне разгон на завтра. Но иногда, принимаясь за новый рассказ и никак не находя начала, я садился перед камином, выжимал сок из кожуры мелких апельсинов прямо в огонь и смотрел на голубые вспышки пламени. Или стоял у окна, глядел на крыши Парижа и думал: «Не волнуйся. Ты писал прежде, напишешь и теперь. Тебе надо написать только одну настоящую фразу. Самую настоящую, какую ты знаешь». И в конце концов я писал настоящую фразу, а за ней уже шло все остальное. Тогда это было легко, потому что всегда из виденного,

слышанного, пережитого всплывала одна настоящая фраза. Если же я старался писать изысканно и витиевато, как некоторые авторы, то убеждался, что могу безболезненно вычеркнуть все эти украшения, выбросить их и начать повествование с настоящей, простой фразы, которую я уже написал. Работая в своем номере наверху, я решил, что напишу по рассказу обо всем, что знаю. Я старался придерживаться этого правила всегда, когда писал, и это очень дисциплинировало.

В этом номере я, кроме того, научился еще одному: не думать, о чем я пишу, с той минуты, как прекращал работу, и до той минуты, пока на следующий день не начинал писать снова. Таким образом, мое подсознание продолжало работать над рассказом – но при этом я мог слушать других, все примечать, узнавать что-то новое, а чтобы отогнать мысли о работе – читать. Спускаться по лестнице, зная, что хорошо поработал, – а для этого нужна была удача и дисциплина, – было очень приятно: теперь я могу идти по Парижу, куда захочу.

Если я возвращался, кончив работу, не поздно, то старался выйти какой-нибудь улочкой к Люксембургскому саду и, пройдя через сад, заходил в Люксембургский музей, где тогда находились великолепные картины импрессионистов, большинство которых теперь находится в Лувре и в «Зале для игры в мяч». Я ходил туда почти каждый день из-за Сезанна и чтобы посмотреть полотна Мане и Моне, а также других импрессионистов, с которыми впервые познакомятся в Институте искусств в Чикаго. Живопись Сезанна учила меня тому, что одних настоящих простых фраз мало, чтобы придать рассказу ту объемность и глубину, какой я пытался достичь. Я учился у него очень многому, но не мог бы внятно объяснить, чему именно. Кроме того, это тайна. А в сумрачные дни, когда в Люксембургском музее было темно, я шел через сад и заходил в квартиру-студию на улицу Флерюс, 27, где жила Гертруда Стайн.

Мисс Стайн жила вместе с приятельницей, и когда мы с женой пришли к ним в первый раз, они приняли нас очень сердечно и дружелюбно, и нам очень понравилась большая студия с великолепными картинами. Она напоминала лучшие залы самых знаменитых музеев, только здесь был большой камин, и было тепло и уютно, и вас угощали вкусными вещами, и чаем, и натуральными наливками из красных и желтых слив или лесной малины. Эти ароматные бесцветные напитки подавались в хрустальных графинах и разливались в маленькие рюмки, и каждая наливка – quetsche, mirabelle или framboise – отдавала на вкус теми ягодами, из которых была сделана, приятно обжигала язык и согревала вас, и вызывала желание поговорить.

Мисс Стайн была крупная женщина – не очень высокая, но ширококостная. У нее были прекрасные глаза и волевое лицо немецкой еврейки, которое могло быть и лицом уроженки Фриули, и вообще она напоминала мне крестьянку с севера Италии и одеждой, и выразительным, подвижным лицом, и красивыми, пышными и непокорными волосами, которые она зачесывала кверху так же, как, верно, делала еще в коллеже. Она говорила без умолку и поначалу о разных людях и странах.

Ее приятельница обладала приятным голосом, была маленького роста, очень смуглая, с крючковатым носом и волосами, подстриженными, как у Жанны д'Арк на иллюстрациях Бутэ де Монвиля. Она что-то вышивала, когда мы пришли, и, продолжая вышивать, успевала угощать нас, а кроме того, занимала мою жену разговором. Она разговаривала с ней, прислушивалась к тому, что говорили мы, и часто вмешивалась в нашу беседу. Позже она объяснила мне, что всегда разговаривает с женами. Жен гостей, как почувствовали мы с Хэдди, здесь только терпели. Но нам понравились мисс Стайн и ее подруга, хотя подруга была не из очень приятных. Картины, пирожные и наливки были по-настоящему хороши. Нам казалось, что мы тоже нравимся обеим женщинам, они обходились с нами, – словно с хорошими, воспитанными и подающими надежды детьми, и я чувствовал, что они прощают нам даже то, что мы любим друг друга и женаты – время все уладит, – и когда моя жена пригласила их на чай, они приняли приглашение.

Когда они пришли, мы как будто понравились им еще больше; но, возможно, это объяснялось теснотой нашей квартиры, где мы все оказались гораздо ближе друг к другу. Мисс Стайн села на матрац, служивший нам постелью, попросила показать ей мои рассказы и сказала, что они ей нравятся все, за исключением «У нас в Мичигане».

– Рассказ хорош, – сказала она. – Несомненно, хорош. Но он *inasscrochable*. То есть что-то вроде картины, которую художник написал, но не может выставить, и никто ее не купит, так как дома ее тоже нельзя повесить.

– Ну, а если рассказ вполне пристойный, просто в нем употреблены слова, которые употребляют люди? И если только эти слова делают рассказ правдивым, и без них нельзя обойтись? Ими необходимо пользоваться.

– Вы ничего не поняли, – сказала она. – Не следует писать вещей *inasscrochable*. В этом нет никакого смысла. Это неправильно и глупо.

Она сказала, что хочет печататься в «Атлантик мансли» и добьется этого. А я, по ее словам, еще не настолько хороший писатель, чтобы печататься в этом журнале или в «Сатердей ивнинг пост», хотя, возможно,

я писатель нового типа, со своей манерой, но прежде всего я должен помнить, что нельзя писать рассказы *inaccessible*. Я не пытался с ней спорить и не стал повторять, как я строю диалог. Это мое личное дело. Но слушать ее было интересно. В тот вечер она, кроме того, объяснила нам, как следует покупать картины.

– Надо покупать либо одежду, либо картины, – сказала она. – Вот и все. Никто, кроме очень богатых людей, не может позволить себе и то и другое. Не придавайте большого значения одежде, а главное, не гонитесь за модой, покупайте прочные и удобные вещи, и тогда у вас останутся деньги на картины.

– Но даже если я никогда больше не буду покупать себе одежду, – возразил я, – все равно у меня не хватит денег, чтобы купить те картины Пикассо, которые мне нравятся.

– Да, для вас он недоступен. Вам придется покупать картины людей вашего возраста, одного с вами военного призыва. Вы с ними познакомитесь. Вы встретите их в своем квартале. Всегда есть хорошие, серьезные новые художники. Но, говоря об одежде, я имела в виду не столько вас, сколько вашу жену. Дорого стоят как раз женские туалеты.

Я заметил, что моя жена старается не смотреть на странное одеяние мисс Стайн, – и это ей удавалось. Когда они ушли, я решил, что мы все еще нравимся им, так как нас пригласили снова посетить дом двадцать семь на улице Флерюс.

Позднее, зимой, меня пригласили заходить в студию в любое время после пяти. Как-то раз я встретил мисс Стайн в Люксембургском саду. Не помню, гуляла она с собакой или нет и вообще была ли у нее тогда собака. Знаю только, что я гулял один, так как в то время нам была не по карману не только собака, но даже кошка, и кошек я видел лишь в кафе и маленьких ресторанчиках или же в окнах консьержек – восхитительных толстых котов. Позже я часто встречал мисс Стайн с собакой в Люксембургском саду, но, кажется, тогда у нее еще собаки не было.

Одним словом, была у нее собака или нет, я принял ее приглашение и зачастил к ней в студию, и она всегда угощала меня настоящей водкой, то и дело наполняя мою рюмку, а я смотрел на картины, и мы разговаривали. Картины были поразительны, а беседа очень интересна. Большею частью говорила мисс Стайн, и она рассказывала мне о современных картинах, и о художниках – о них больше как о людях, чем о художниках, – и о своей работе. Она показывала мне свои объемистые рукописи, которые ее приятельница перепечатывала. Мисс Стайн была счастлива тем, что работает каждый день, но, узнав ее ближе, я понял, что счастлива она

может быть лишь тогда, когда ее ежедневная продукция, количество которой зависело от ее энергии, публикуется, а сама она получает признание.

Когда я познакомился с ней, это еще не ощущалось так остро – она только что напечатала три рассказа, понятных каждому. Один из этих рассказов, «Меланкта», был особенно хорош, и лучшие образцы ее экспериментального творчества издали отдельной книгой, и критики, которые бывали у нее или хотя бы только раскланивались с ней, высоко их оценили. В ней была какая-то особая сила, и, когда она хотела привлечь кого-то на свою сторону, устоять было невозможно, и критики, которые были знакомы с ней и видели ее картины, принимали на веру ее творчество, хотя и не понимали его, – настолько они восхищались ею как человеком и были уверены в непогрешимости ее суждений. Кроме того, она открыла много верных и ценных истин о ритме и повторах и очень интересно говорила на эти темы.

Однако она не любила править рукописи и работать над тем, чтобы сделать их читабельными, хотя для того, чтобы о ней говорили, ей необходимо было печататься; особенно это касалось невероятно длинной книги, озаглавленной «Становление американцев».

Книга начиналась великолепно, далее следовали десятки страниц, многие из которых были просто блестящи, а затем шли бесконечные повторы, которые более добросовестный и менее ленивый писатель выбросил бы в корзину. Я близко познакомился с этим произведением, когда уговорил – а точнее сказать, принудил – Форда Мэдокса Форда начать печатать его в «Трансатлантик ревью», зная, что журнал прекратит свое существование, прежде чем опубликует его до конца. И все это время я читал журнальные гранки за мисс Стайн, поскольку такая работа не доставляла ей удовольствия.

В тот морозный день, когда я прошел мимо комнатки консьержки и через холодный двор попал в теплую студию, до всего этого было еще далеко. В тот день мисс Стайн просвещала меня по вопросам пола. К этому времени мы очень полюбили друг друга, и я уже знал, что, если я чего-нибудь не понимаю, это еще не значит, что это плохо. Мисс Стайн считала, что я совершенно не разбираюсь в вопросах пола; и я должен признаться, что питал определенное предубеждение против гомосексуализма, поскольку мне были известны лишь его наиболее примитивные аспекты. Я знал, почему молодые парни носили ножи, а иногда и пускали их в ход в компании бродяг в те дни, когда слово «волк» еще не означало мужчину, помешанного на женщинах. Я знал много inasscrochable слов и выражений,

которые слышал в те годы, когда жил в Канзас-Сити, а также нравы, царившие в различных районах этого города, в Чикаго и на озерных судах. В ответ на вопросы мисс Стайн я попытался объяснить, что подросток, живущий среди мужчин, всегда должен быть готов, в случае необходимости, убить человека и быть уверенным, что сумеет это сделать, если он хочет, чтобы к нему не приставали. Это было *asscrochable*. А если в тебе есть эта уверенность, другие сразу это чувствуют и оставляют тебя в покое; и ни при каких обстоятельствах нельзя допускать, чтобы тебя силой или хитростью загнали в ловушку. Я мог бы выразить свою мысль более убедительно с помощью одной *inasscrochable* фразы, которую употребляют «волки» на озерных судах. Но в разговоре с мисс Стайн я всегда выбирал выражения, даже когда одно слово могло бы точнее объяснить или выразить смысл какого-нибудь поступка.

– Все это так, Хемингуэй, – заявила она. – Но вы жили в среде людей преступных и извращенных.

Я не стал оспаривать этого, хотя подумал, что жил я в настоящем мире, и были там разные люди, и я старался понять их, хотя некоторые из них мне не нравились, а иных я ненавижу до сих пор.

– А знаете, когда я лежал в госпитале в Италии, меня навестил старик с прекрасными манерами и громким именем. Он пришел ко мне с бутылкой не то марсалы, не то кампари и вел себя безукоризненно, а затем в один прекрасный день я вынужден был попросить сестру больше никогда не пускать этого человека в мою палату. Что вы на это скажете? – спросил я.

– Это больные люди, не властные над своими поступками, и вы должны их жалеть.

– Значит, я должен жалеть и такого-то? – спросил я и назвал его имя. Но он так любит называть его сам, что незачем это делать за него еще раз.

– Нет. Он порочный человек. Он развратник и по-настоящему порочен.

– Но он считается хорошим писателем.

– Он плохой писатель, – сказала она. – Он просто позер и развращает потому, что ему нравится разврат, а кроме того, он прививает людям и другие пороки. Наркоманию, например.

– Ну, а тот человек из Милана, которого я должен жалеть, разве не пытался развратить меня?

– Не говорите глупостей. Как он мог развратить вас? Разве можно развратить бутылкой марсалы того, кто, как вы, пьет чистый спирт? Что взять с несчастного старика, который не отвечает за свои поступки? Это больной человек, не владеющий собой, и вы должны пожалеть его.

– Я пожалел его тогда, – сказал я. – Но был очень разочарован, ведь у

него были такие хорошие манеры.

Я выпил еще глоток водки, и пожалел старика, и посмотрел на обнаженную девушку Пикассо с корзиной цветов. Не я начал этот разговор, и теперь подумал, что он становится опасным. В наших беседах с мисс Стайн почти никогда не было пауз, но сейчас мы молчали, я чувствовал, что она что-то хочет сказать мне, и наполнил рюмку.

– Вы, в сущности, ничего не смыслите в этом, Хемингуэй, – сказала она. – Вы встречали либо преступников, либо больных, либо порочных людей. Но главное в том, что мужская однополая любовь отвратительна и мерзка и люди делаются противны самим себе. Они пьют и употребляют наркотики, чтобы забыться, но все равно им противно то, что они делают, они часто меняют партнеров и не могут быть по-настоящему счастливы.

– Понимаю.

– У женщин совсем по-другому. Они не делают ничего противного, ничего вызывающего отвращение, и потом им очень хорошо и они могут быть по-настоящему счастливы вдвоем.

– Понимаю, – сказал я. – А что вы скажете о такой-то?

– Она развратница, – сказала мисс Стайн. – Она просто развратница, и ей всегда нужно что-нибудь новое. Она развращает людей.

– Понимаю.

– Надеюсь, что теперь понимаете.

В те дни мне надо было понять так много, что я обрадовался, когда мы заговорили о другом. Сад был закрыт, и мне пришлось пройти вдоль ограды до улицы Вожирар и обогнуть его. Было грустно, что сад закрыт, а ворота заперты, и грустно оттого, что я иду вдоль ограды, а не через сад, торопясь к себе домой на улицу Кардинала Лемуана. А ведь день начался так хорошо. Завтра мне придется много работать. Работа – лучшее лекарство от всех бед, я верил в это тогда и сейчас. Затем я решил, что мисс Стайн всего лишь хочет излечить меня от молодости и от любви к жене. Так что, когда я пришел домой на улицу Кардинала Лемуана и рассказал жене о приобретенных познаниях, мне уже не было грустно. А ночью мы вернулись к тем радостям, которые знали раньше, и к тем, которые познали недавно в горах.

Une generation perdue⁴

Скоро у меня вошло в привычку заходить по вечерам на улицу Флерюс, 27, ради тепла, картин и разговоров. Мисс Стайн часто бывала одна и всегда встречала меня очень радушно и долгое время питала ко мне симпатию. Когда я возвращался из поездок на разные политические конференции, или с Ближнего Востока, или из Германии, куда я ездил по заданию канадской газеты и агентств, для которых писал, она требовала, чтобы я рассказывал ей обо всех смешных происшествиях. В курьезах недостатка не было, и они ей нравились, как и рассказы, которые, по выражению немцев, отдают юмором висельника. Она хотела знать только веселую сторону происходящих в мире событий, а не всю правду, не все дурное.

Я был молод и не склонен к унынию, а ведь даже в самые плохие времена случаются нелепые и забавные вещи, и мисс Стайн любила слушать именно о них. А об остальном я не говорил, об остальном я писал для себя.

Но когда я заходил на улицу Флерюс не после поездок, а после работы, я иногда пытался завести с мисс Стайн разговор о книгах. После работы мне необходимо было читать. Потому что, если все время думать о работе, можно утратить к ней интерес еще до того, как сядешь на другой день за стол. Необходимо получить физическую нагрузку, устать телом, и особенно хорошо предаваться любви с любимой женщиной. Это лучше всего. Но потом, когда приходит опустошенность, нужно читать, чтобы не думать и не тревожиться о работе до тех пор, пока не приступишь к ней снова. Я уже научился никогда не опустошать до дна кладезь творческой мысли и всегда прекращал писать, когда на доньшке еще что-то оставалось, чтобы за ночь питающие его источники успели вновь его наполнить.

Иногда, чтобы после работы не думать, о чем я пишу, я читал книги писателей, известных в те годы, например Олдоса Хаксли, Д. Г. Лоуренса или любого из тех, чьи книги я мог достать в библиотеке Сильвии Бич или найти у букинистов на набережных.

— Хаксли — покойник, — сказала мисс Стайн. — Зачем вам читать книги покойника? Неужели вы не видите, что он покойник?

Нет, я этого не видел и сказал, что его книги забавляют меня и позволяют не думать.

— Вы должны читать лишь то, что по-настоящему хорошо или

откровенно никуда не годится.

– Я читал по-настоящему хорошие книги всю эту зиму и всю прошлую зиму и буду читать их следующей зимой, а плохих книг я не люблю.

– Но тогда для чего вы читаете эту чепуху? Это претенциозная чепуха, Хемингуэй. Написанная покойником.

– Я хочу знать, о чем пишут люди, – сказал я. – Это помогает мне не писать то же самое.

– Кого еще вы читаете?

– Д. Г. Лоуренса, – ответил я. – У него есть несколько очень хороших рассказов, особенно «Прусский офицер».

– Я пыталась читать его романы. Он невозможен. Жалок и нелеп. И пишет, как больной.

– А мне понравились «Сыновья и любовники» и «Белый павлин», – сказал я. – Последний, пожалуй, меньше. А вот «Влюбленных женщин» я дочитать не мог.

– Если вы не хотите читать плохих книг, а хотите прочесть что-то более увлекательное и по-своему прекрасное, почитайте Мари Беллок Лаундс.

Я впервые услышал это имя, и мисс Стайн дала мне почитать «Жильца» – изумительную повесть о Джеке Потрошителе – и еще один роман – об убийстве, происшедшем в некоем предместье Парижа, напоминающем Энгиен-ле-Бэн. Обе книги были великолепны для чтения после работы, их герои были достаточно жизненны, а поступки и ужасы вполне убедительны. Для чтения после работы лучшего и придумать нельзя, и я прочитал все ее книги, что мог достать, но ни одна не могла сравниться с первыми двумя, и пока не появились отличные книги Сименона, мне не удавалось найти ничего равного им для чтения в пустые дневные и ночные часы.

Думаю, что мисс Стайн понравились бы хорошие вещи Сименона – первым, что я прочитал, было не то «L'Ecluse Numero 1», не то «La Maison du Canal»⁵ – а впрочем, не уверен, потому что, когда я познакомился с мисс Стайн, она не любила читать по-французски, хотя ей очень нравилось говорить на этом языке. Первые две книги Сименона, которые я прочел, дала мне Дженет Флэннер. Она любила читать французские книги и читала Сименона, когда он был еще полицейским репортером.

За три-четыре года нашей дружбы я не помню, чтобы Гертруда Стайн хоть раз хорошо отзывалась о каком-нибудь писателе, кроме тех, кто хвалил ее произведения или сделал что-нибудь полезное для ее карьеры. Исключение составляли Рональд Фэрбенк и позже Скотт Фицджеральд.

Когда я познакомился с ней, она не говорила о Шервуде Андерсоне как о писателе, но зато превозносила его как человека, и особенно его прекрасные итальянские глаза, большие и бархатные, его доброту и обаяние. Меня не интересовали его прекрасные итальянские глаза, большие и бархатные, но мне очень нравились некоторые его рассказы. Они были написаны просто, а иногда превосходно, и он знал людей, о которых писал, и очень их любил. Мисс Стайн не желала говорить о его рассказах, она говорила о нем только как о человеке.

— А что вы думаете о его романах? — спросил я ее. Она не желала говорить о творчестве Андерсона, как не желала говорить и о Джойсе. Стоило дважды упомянуть Джойса, и вас уже никогда больше не приглашали в этот дом. Это было столь же бестактно, как в разговоре с одним генералом лестно отозваться о другом. Допустив такой промах однажды, вы больше никогда его не повторите. Зато, разговаривая с генералом, разрешается упоминать о том генерале, над которым он однажды одержал верх. Генерал, с которым вы разговариваете, будет восхвалять побитого генерала и с удовольствием вспоминать подробности того, как он его разбил.

Рассказы Андерсона были слишком хороши, чтобы служить темой для приятной беседы. Я мог бы сказать мисс Стайн, что его романы на редкость плохи, но и это было недопустимо, так как означало бы, что я стал критиковать одного из ее наиболее преданных сторонников. Когда он написал роман, в конце концов получивший название «Темный смех», настолько плохой, глупый и надуманный, что я не удержался и написал на него пародию⁶, мисс Стайн не на шутку рассердилась. Я позволил себе напасть на человека, принадлежавшего к ее свите. Прежде она не сердилась. И сама начала расточать похвалы Шервуду, когда его писательская репутация потерпела полный крах.

Она рассердилась на Эзру Паунда за то, что он слишком поспешно сел на маленький, хрупкий и, наверно, довольно неудобный стул (возможно, даже нарочно ему подставленный) и тот не то треснул, не то рассыпался. А то, что он был большой поэт, мягкий и благородный человек и, несомненно, сумел бы усидеть на обыкновенном стуле, во внимание принято не было. Причины ее неприязни к Эзре, излагавшиеся с великим и злобным Искусством, были придуманы много лет спустя.

Когда мы вернулись из Канады и поселились на улице Нотр-Дам-де-Шан, а мисс Стайн и я были еще добрыми друзьями, она и произнесла свою фразу о потерянном поколении. У старого «форда» модели "Т", на котором в те годы ездила мисс Стайн, что-то случилось с зажиганием, и

молодой механик, который пробыл на фронте последний год войны и теперь работал в гараже, не сумел его исправить, а может быть, просто не захотел чинить ее «форд» вне очереди. Как бы там ни было, он оказался недостаточно sérieux⁷, и после жалобы мисс Стайн хозяин сделал ему строгий выговор. Хозяин сказал ему: «Все вы – generation perdue!»

– Вот кто вы такие! И все вы такие! – сказала мисс Стайн. – Вся молодежь, побывавшая на войне. Вы – потерянное поколение.

– Вы так думаете? – спросил я.

– Да, да, – настаивала она. – У вас ни к чему нет уважения. Вы все сопьетесь...

– Разве механик был пьян?

– Конечно, нет.

– А меня вы когда-нибудь видели пьяным?

– Нет, но ваши друзья – пьяницы.

– Мне случалось напиваться, – сказал я. – Но к вам я никогда не приходил пьяным.

– Конечно, нет. Я этого и не говорила.

– Наверняка хозяин вашего механика в одиннадцать утра был уже пьян, – сказал я. – Потому-то он и изрекал такие чудесные афоризмы.

– Не спорьте со мной, Хемингуэй. Это ни к чему не приведет. Хозяин гаража прав: вы все – потерянное поколение.

Позже, когда я написал свой первый роман, я пытался как-то сопоставить фразу, услышанную мисс Стайн в гараже, со словами Екклезиаста. Но в тот вечер, возвращаясь домой, я думал об этом юноше из гаража и о том, что, возможно, его везли в таком же вот «форде», переоборудованном в санитарную машину. Я помню, как у них горели тормоза, когда они, набитые ранеными, спускались по горным дорогам на первой скорости, а иногда приходилось включать и заднюю передачу, и как последние машины порожняком пускали под откос, поскольку их заменили огромными «фиатами» с надежной коробкой передач и тормозами. Я думал о мисс Стайн, о Шервуде Андерсоне, и об эготизме, и о том, что лучше – духовная лень или дисциплина. Интересно, подумал я, кто же из нас потерянное поколение? Тут я подошел к «Клозери-де-Ли́ла»: свет падал на моего старого друга – статую маршала Нея, и тень деревьев ложилась на бронзу его обнаженной сабли, – стоит совсем один, и за ним никого! И я подумал, что все поколения в какой-то степени потерянные, так было и так будет, – и зашел в «Ли́ла», чтобы ему не было так одиноко, и прежде, чем пойти домой, в комнату над лесопилкой, выпил холодного пива. И, сидя за пивом, я смотрел на статую и вспоминал, сколько дней Ней дрался в

арьергарде, отступая от Москвы, из которой Наполеон уехал в карете с Коленкуром; я думал о том, каким хорошим и заботливым другом была мисс Стайн и как прекрасно она говорила о Гийоме Аполлинере и о его смерти в день перемирия в 1918 году, когда толпа кричала: «A bas Guillaume!»⁸, а метавшемуся в бреду Аполлинеру казалось, что эти крики относятся к нему, и я подумал, что сделаю все возможное, чтобы помочь ей, и постараюсь, чтобы ей воздали должное за все содеянное ею добро, свидетель бог и Майк Ней. Но к черту ее разговоры о потерянном поколении и все эти грязные, дешевые ярлыки. Когда я добрался домой, и вошел во двор, и поднялся по лестнице, и увидел пылающий камин, и свою жену, и сына, и его кота Ф. Киса, счастливых и довольных, я сказал жене:

– Знаешь, все-таки Гертруда очень милая женщина.

– Конечно, Тэти.

– Но иногда она несет вздор.

– Я же не слышу, что она говорит, – сказала моя жена. – Ведь я жена.

Со мной разговаривает ее подруга.

«Шекспир и компания»

В те дни у меня не было денег на покупку книг. Я брал книги на улице Одеон, 12, в книжной лавке Сильвии Бич «Шекспир и компания», которая одновременно была и библиотекой. После улицы, где гулял холодный ветер, эта библиотека с большой печкой, столами и книжными полками, с новыми книгами в витрине и фотографиями известных писателей, живых и умерших, казалась особенно теплой и уютной. Все фотографии были похожи на любительские, и даже умершие писатели выглядели так, словно еще жили. У Сильвии было подвижное, с четкими чертами лицо, карие глаза, быстрые, как у маленького зверька, и веселые, как у юной девушки, и волнистые каштановые волосы, отброшенные назад с чистого лба и подстриженные ниже ушей, на уровне воротника ее коричневого бархатного жакета. У нее были красивые ноги, она была добросердечна, весела, любознательна и любила шутить и болтать. И лучше нее ко мне никто никогда не относился.

Когда я впервые пришел в ее лавку, я держался очень робко – у меня не хватало денег, чтобы записаться в библиотеку, – Сильвия сказала, что я могу внести залог позже, когда мне будет удобнее, завела на меня карточку и предложила взять столько книг, сколько я захочу.

У нее не было никаких оснований доверять мне. Она меня не знала, адрес же, который я ей назвал, – улица Кардинала Лемуана, 74, – говорил только о бедности. И все-таки Сильвия была мила, обаятельна и приветлива, а за ее спиной поднимались к потолку и тянулись в соседнюю комнату, выходящую окнами во двор, бесчисленные книжные полки со всем богатством ее библиотеки.

Я начал с Тургенева и взял два тома «Записок охотника» и, если не ошибаюсь, один из ранних романов Д. Г. Лоуренса «Сыновья и любовники», но Сильвия предложила мне взять еще несколько книг. Я выбрал «Войну и мир» в переводе Констанс Гарнетт и Достоевского «Игрок» и другие рассказы.

– Если вы собираетесь прочитать все это, то не скоро зайдете снова, — сказала Сильвия.

– Я приду заплатить, — ответил я. — У меня дома есть деньги.

– Я не это имела в виду, — сказала она. — Заплатите, когда вам будет удобно.

– Когда у вас бывает Джойс? — спросил я.

– Как правило, в конце дня, – ответила она. – Разве вы его никогда не видели?

– Мы видели, как он с семьей обедал у Мишо, – сказал я. – Но смотреть на людей, когда они едят, невежливо, и это дорогой ресторан.

– Вы обедаете дома?

– Чаще всего, – ответил я. – У нас хорошая кухарка.

– По соседству с вашим домом, кажется, нет никаких ресторанов?

– Нет. Откуда вы знаете?

– Там жил Ларбо, – сказала она. – В остальном ему там все нравилось.

– Ближайший к нам недорогой ресторанчик находится возле Пантеона.

– Я не знаю вашего района. Мы обедаем дома. Приходите к нам как-нибудь с женой.

– Подождите приглашать, ведь я еще не заплатил вам. Во всяком случае, большое спасибо.

– Читайте не торопясь, – сказала она.

Нашим домом на улице Кардинала Лемуана была двухкомнатная квартирка без горячей воды и канализации, которую заменял бак, что не было таким уж неудобством для тех, кто привык к мичиганским уборным во дворе. Зато из окна открывался чудесный вид. На полу лежал хороший пружинный матрац, служивший удобной постелью, на стенах висели картины, которые нам нравились, и квартира казалась нам светлой и уютной.

Вернувшись домой с книгами, я рассказал жене, какое замечательное место я нашел.

– Но, Тэти, ты должен сегодня же пойти туда и отдать деньги, – сказала она.

– Ну, конечно, – сказал я. – Мы пойдем вместе. А потом мы спустимся к реке и погуляем по набережным.

– Давай пойдем по улице Сены и будем заходить во все лавки торговцев картинами и рассматривать витрины магазинов.

– Обязательно. Мы пойдем, куда захотим, а потом зайдём в какое-нибудь новое кафе, где мы никого не знаем и где нас никто не знает, и выпьем по рюмочке.

– Можно и по две.

– Потом мы где-нибудь поужинаем.

– Вот уж нет. Не забывай, что нам нужно заплатить в библиотеку.

– Тогда мы вернемся ужинать домой и закатим настоящий пир и выпьем бона из магазина напротив – видишь на витрине бутылку бона, там и цена указана. А потом мы почтаем и ляжем в постель и будем любить

друг друга.

– И мы всегда будем любить только друг друга и больше никого.

– Да. Всегда.

– Какой чудесный вечер. А сейчас неплохо было бы пообедать.

– Ужасно хочется есть, – сказал я. – Я работал в кафе на одном safe-creme⁹.

– Как шла работа, Тэти?

– По-моему, хорошо. Так мне кажется. Что у нас на обед?

– Молодая редиска и отличная foie de veau¹⁰ с картофельным пюре, салат и яблочный пирог.

– И теперь у нас будут книги, какие мы только захотим, и мы станем брать их с собой, когда куда-нибудь поедем.

– А это честно?

– Конечно.

– Как хорошо! – сказала она. – Нам повезло, что ты отыскал это место.

– Нам всегда везет, – сказал я и, как дурак, не постучал по дереву, чтобы не сглазить. А ведь в той квартире всюду было дерево, по которому можно было постучать.

Люди Сены

С дальнего конца улицы Кардинала Лемуана к реке можно спуститься разными путями. Самый ближний – прямо вниз по улице, но она очень крута, и когда вы добирались до ровного места и пересекали начало бульвара Сен-Жермен с его оживленным движением, она выводила вас на унылый, продуваемый ветрами участок набережной слева от Винного рынка. Этот рынок не похож на другие парижские рынки, а скорее на таможенный пакгауз, куда привозят вино и платят за него пошлину, и своим безрадостным видом напоминает не то казарму, не то тюремный барак.

По ту сторону рукава Сены лежит остров Сен-Луи с узенькими улочками, старинными высокими красивыми домами, и можно пойти туда или повернуть налево и идти по набережной, пока остров Сен-Луи не останется позади и вы не окажетесь напротив Нотр-Дам и острова Ситэ.

У книготорговцев на набережной иногда можно было почти даром купить только что вышедшие дешевые американские книги. Над рестораном «Серебряная башня» в те времена сдавалось несколько комнат, и те, кто их снимал, получали в ресторане скидку; а если они оставляли какие-нибудь книги, valet de chambre¹¹ сбывал их букинистке на набережной, и вы могли купить их у нее за несколько франков. Она не питала доверия к книгам на английском языке, платила за них гроши и старалась поскорее их продать с любой даже самой небольшой прибылью.

– А есть среди них хорошие? – как-то спросила она меня, когда мы подружились.

– Иногда попадают.

– А как это узнать?

– Я узнаю, когда читаю.

– Все-таки это дело рискованное. Да и так ли уж много людей читает по-английски?

– Ну, тогда откладывайте их и показывайте мне.

– Нет, откладывать их я не могу. Вы ведь не каждый день ходите этим путем. Иногда вас подолгу не видно. Нет, я должна продавать их, как только представится случай. Ведь они все-таки чего-то стоят. Если бы они ничего не стоили, мне б ни за что их не продать.

– А как вы определяете ценную французскую книгу?

– Ну, прежде всего проверяю, есть ли в ней иллюстрации. Затем смотрю на качество иллюстраций. Большое значение имеет и переплет.

Если книга хорошая, владелец обязательно переплетет ее как следует. Английские книги тоже в переплетах, но в плохих. О таких книгах очень трудно судить.

От этого лотка около «Серебряной башни» и до набережной Великих Августинцев букинисты не торговали английскими и американскими книгами. Зато дальше, включая набережную Вольтера, было несколько букинистов, торговавших книгами, купленными у служащих отелей с левого берега Сены, в частности, отеля «Вольтер», где, как правило, останавливались богатые люди. Как-то я спросил у другой букинистки – тоже моей хорошей приятельницы, – случалось ли ей покупать книги у самих владельцев?

– Нет, – ответила она. – Это все брошенные книги. Потому-то они ничего и не стоят.

– Их дарят друзьям, чтобы они не скучали на пароходе.

– Возможно, – сказала она. – Наверно, их немало остается на пароходах.

– Да, – сказал я. – Команда их не выбрасывает, книги отдают в переплет и составляют из них судовые библиотечки.

– Это очень разумно, – ответила она. – Во всяком случае, это книги в хороших переплетах. А такая книга уже имеет ценность.

Я отправлялся гулять по набережным, когда кончал писать или когда мне нужно было подумать. Мне легче думалось, когда я гулял, или был чем-то занят, или наблюдал, как другие занимаются делом, в котором знают толк. Нижний конец острова Ситэ переходит у Нового моста, где стоит статуя Генриха IV, в узкую стрелку, похожую на острый нос корабля, и там у самой воды разбит небольшой парк с чудесными каштанами, огромными и развесистыми, а быстрины и глубокие заводи, которые образует здесь Сена, представляют собой превосходные места для рыбной ловли. По лестнице можно спуститься в парк и наблюдать за рыболовами, которые устроились здесь и под большим мостом. Рыбные места менялись в зависимости от уровня воды в реке, и рыболовы пользовались складными бамбуковыми удочками, но с очень тонкой леской, легкой снастью и поплавками из гусиных перьев; они искусно подкармливали рыбу в том месте, где ловили. Им всегда удавалось что-нибудь поймать, и часто на крючок попадалась отличная, похожая на плотву рыба, которую называют гоуџон. Зажаренная целиком, она просто объедение, и я мог съесть полную тарелку. Мясо ее очень нежно и на вкус приятнее даже свежих сардин и совсем не отдает жиром, и мы съедали рыбу прямо с костями.

Лучше всего ее готовили в открытом речном ресторанчике в Нижнем

Медоне, куда мы обычно ездили проветриться, когда у нас бывали деньги. Он назывался «Чудесная рыбалка», и в нем подавали отличное белое вино типа мюскаде. Здесь все было как в рассказах Мопассана, а вид на реку точно такой, как на картинах Сислея. Конечно, чтобы поесть *goujon*, не нужно было ездить так далеко. На острове Сен-Луи готовили отличную *friture*¹².

Я знал кое-кого из тех, кто удил в самых рыбных местах Сены, между островами Сен-Луи и площадью Верт-Галант, и иногда, в ясные дни, я покупал литр вина, хлеб и колбасу, садился на солнышке, читал только что купленную книгу и наблюдал за рыбной ловлей.

Авторы путевых очерков любят изображать парижских рыболовов так, словно это одержимые, у которых рыба никогда не клюет, но на самом деле это занятие вполне серьезное и даже выгодное. Большинство рыболовов жило на скромную пенсию, еще не подозревая, что инфляция превратит ее в ничто, но были и заядлые любители, проводившие на реке все свободное время. В Шарантоне, где в Сене впадает Марна, и за городом рыбалка была лучше, но и в самом Париже можно было неплохо порыбачить. Сам я не удил, потому что у меня не было снасти, и я предпочитал откладывать деньги, чтобы поехать удить рыбу в Испанию. Кроме того, я сам точно не знал, когда закончу работу или когда буду в отъезде, и поэтому не хотел связывать себя рыбной ловлей, заниматься которой можно только в определенные часы. Но я внимательно следил за рыболовами, и мне всегда было приятно сознавать, что я разбираюсь во всех тонкостях, а мысль о том, что даже в этом большом городе люди удят рыбу не для забавы и улов приносят домой для *friture*, доставляла мне радость.

Рыболовы и оживленная река, красавицы баржи с их особой жизнью на борту, буксиры с трубами, которые откидывались, чтобы не задеть мосты, и тянущаяся за буксиром вереница барж, величественные вязы на одетых в камень берегах, платаны и кое-где тополя, — я никогда не чувствовал себя одиноким у реки. Когда в городе так много деревьев, кажется, что весна вот-вот придет, что в одно прекрасное утро ее неожиданно принесет теплый ночной ветер. Иногда холодные проливные дожди заставляли ее отступить, и казалось, что она никогда не вернется и что из твоей жизни выпадает целое время года. Это были единственные по-настоящему тоскливые дни в Париже, потому что все в такие дни казалось фальшивым. Осенью с тоской миришься. Каждый год в тебе что-то умирает, когда с деревьев опадают листья, а голые ветки беззащитно качаются на ветру в холодном зимнем свете. Но ты знаешь, что весна обязательно придет, так же как ты уверен, что замерзшая река снова

освободится ото льда. Но когда холодные дожди льют не переставая и убивают весну, кажется, будто ни за что загублена молодая жизнь.

Впрочем, в ту пору весна в конце концов всегда наступала, но было страшно, что она могла и не прийти.

Обманная весна

Когда наступала весна, пусть даже обманная, не было других забот, кроме одной: найти место, где тебе будет лучше всего. Единственное, что могло испортить день, – это люди, но если удавалось избежать приглашений, день становился безграничным. Люди всегда ограничивали счастье – за исключением очень немногих, которые несли ту же радость, что и сама весна.

Весной я обычно работал рано утром, когда жена еще спала. Окна были распахнуты настежь, и булыжник мостовой просыхал после дождя. Солнце высушивало мокрые лица домов напротив моего окна. В магазине еще не открывали ставен. Пастух гнал по улице стадо коз, играя на дудке, и женщина, которая жила над нами, вышла на тротуар с большим кувшином. Пастух выбрал черную козу с набухшим выменем и подоил ее прямо в кувшин, а его собака тем временем загнала остальных коз на тротуар. Козы глазели по сторонам и вертели головами, как туристы. Пастух взял у женщины деньги, поблагодарил ее и пошел дальше, наигрывая на своей дудке, а собака погнала коз, и они затрусили по мостовой, встряхивая рогами.

Я снова принялся писать, а женщина с молоком поднялась по лестнице. Она была в шлепанцах на войлочной подошве, и я слышал только ее тяжелое дыхание, когда она остановилась на нашей площадке, а потом стук закрывшейся за нею двери. В нашем доме, кроме нее, никто не пил козьего молока.

Я решил выйти на улицу и купить утреннюю программу скачек. Даже в самом бедном квартале можно было найти, по крайней мере, один экземпляр, но в такой день программу следовало купить пораньше. Я нашел ее на углу улицы Декарта и площади Контрэскарп. Козы спускались по улице Декарта, а я глубоко вдохнул утренний воздух и быстро зашагал обратно, чтобы поскорее подняться к себе и закончить работу. Я чуть не поддался соблазну и не пошел вслед за козами по утренней улице, вместо того чтобы вернуться домой. Однако прежде чем начать писать, я заглянул в программу. В этот день скачки проводились в Энгиене на небольшом, симпатичном и жуликоватом ипподроме – пристанище аутсайдеров¹³.

Значит, когда я кончу работать, мы отправимся на скачки. Торонтская газета, куда я писал, прислала небольшой гонорар, и мы решили сделать крупную ставку, чтобы выиграть приличную сумму. Моя жена как-то

поставила в Отейле на лошадь по кличке Золотая Коза, за нее выдавали сто двадцать к одному, и она уже вела на двадцать корпусов, но упала на последнем препятствии, безвозвратно лишив нас сбережений, которых хватило бы нам на полгода. Мы старались не вспоминать об этом. В тот год мы все время выигрывали до этого случая с Золотой Козой.

– А у нас есть деньги, чтобы по-настоящему играть, Тэти? – спросила жена.

– Нет. Надо будет рассчитать и потратить столько, сколько возьмем с собой. Но, может быть, ты хочешь истратить их на что-то другое?

– Как тебе сказать, – сказала она.

– Понимаю. Все это время нам очень трудно жилось, и я был скаредом.

– Нет, – сказала она, – но...

Я знал, как я был строг в расходах и как плохо все складывалось. Того, кто работает и получает удовлетворение от работы, нужда не огорчает. Ванные, души и теплые уборные я считал удобствами, которые существуют для людей во всех отношениях ниже нас, нам же они доставляли удовольствие во время путешествий, а мы путешествовали часто. А так – в конце улицы у реки были бани. Моя жена никогда не жаловалась на все это, как и не плакала из-за того, что Золотая Коза упала. Помню, она заплакала, потому что ей стало жаль лошадь, но не деньги. Я вел себя глупо, когда ей понадобился серый цигейковый жакет, но, когда она купила его, он мне очень понравился. Я вел себя глупо и в других случаях. Но все это было следствием борьбы с бедностью, которую можно победить, только если не тратить денег. И особенно когда покупаешь картины вместо одежды. Но дело в том, что мы вовсе не считали себя бедными. Мы просто не желали мириться с этой мыслью. Мы причисляли себя к избранным, а те, на кого мы смотрели сверху вниз и кому с полным основанием не доверяли, были богатыми. Мне казалось вполне естественным носить для тепла свитер вместо нижней рубашки. Станным это казалось только богатым. Мы хорошо и недорого ели, хорошо и недорого пили и хорошо спали, и нам было тепло вместе, и, мы любили друг друга.

– По-моему, нам следует поехать, – сказала жена. – Мы так давно не были на скачках. Возьмем с собой чего-нибудь поесть и немного вина. Я сделаю хорошие бутерброды.

– Мы поедем поездом, и, кстати, это дешевле. Но если ты считаешь, что нам не следует этого делать, то давай не поедем. Что бы мы сегодня ни решили, все хорошо. Сегодня чудесный день.

– По-моему, надо поехать.

– А может быть, тебе приятней будет истратить деньги на что-нибудь

еще?

– Нет, – ответила она высокомерно. Ее высокие скулы были точно созданы для высокомерия. – Кто мы такие, в конце концов?

Мы сели в поезд на Северном вокзале, проехали через самую грязную и унылую часть города и от платформы пешком добрались до зеленого ипподрома. Было еще рано, мы расстелили мой дождевик на только что подстриженной траве, сели и позавтракали, – мы пили вино прямо из бутылки и смотрели на старые трибуны, на коричневые деревянные будки тотализатора, на зеленую траву ипподрома, темно-зеленые заборы и коричневый блеск воды в канавах, на выбеленные каменные стенки и белые столбы и перила, на загон под зазеленевшими деревьями и на первых лошадей, которых туда выводили. Мы выпили еще немного вина и внимательно изучили программу скачек, и моя жена прилегла на дождевик вздремнуть, подставив лицо солнцу. Я отошел к трибунам и вскоре встретил человека, которого знал еще в Милане. Он подсказал мне двух лошадей.

– Они, конечно, не золотое дно. Но не пугайтесь ставок.

На первую из них мы поставили половину денег, которые собирались истратить, и она принесла нам выигрыш двенадцать к одному, великолепно взяв препятствия, обогнав остальных на последней прямой и финишировав на четыре корпуса впереди всех. Мы отложили половину выигрыша, а другую половину поставили на вторую лошадь, которая сразу вырвалась вперед, вела скачку на всех препятствиях, а на прямой чуть было не проиграла – фаворит настигал ее с каждым скачком, и хлысты обоих жокеев работали вовсю.

Мы пошли выпить по бокалу шампанского в баре под трибунами и подождать, пока будет объявлена выплата.

– Все-таки скачки страшно выматывают, – сказала моя жена. – Ты видел, как та лошадь чуть не пришла первой?

– У меня до сих пор все внутри дрожит.

– Сколько будут платить?

– Котировка была восемнадцать к одному. Но, возможно, в последнюю минуту на нее сделали много ставок.

Мимо провели лошадей, наша была вся в мыле, ее ноздри широко раздувались, и жокей оглаживал ее.

– Бедняжка, – сказала жена. – А мы-то ведь только ставим деньги.

Мы смотрели, пока лошади не прошли, и выпили еще по бокалу шампанского, и тут объявили выплату: восемьдесят пять. Это означало, что за эту лошадь платили по восемьдесят пять франков за десятифранковый

билет.

– Должно быть, под конец на нее очень много поставили, – сказал я.

Но мы выиграли большие деньги, большие для нас, и теперь у нас была весна и еще деньги. И я подумал, что ничего другого нам не нужно. Такой день, даже если выделить каждому из нас на расходы по четверти выигрыша, позволял отложить еще половину в фонд для скачек. Фонд для скачек я хранил в секрете и отдельно от всех других денег.

Как-то в том же году, когда мы вернулись из одного нашего путешествия и нам снова повезло на скачках, мы по пути домой зашли к Прюнье, чтобы посидеть в баре, предварительно ознакомившись со всеми чудесами витрины, снабженными четкими ярлычками с ценой. Мы заказали устриц и *сгабе мексикайне*¹⁴ и запили их несколькими рюмками сансерра. Обратно мы шли в темноте через Тюильри и остановились посмотреть сквозь арку Карусель на сады, за чопорной темнотой которых светилась площадь Согласия и к Триумфальной арке поднималась длинная цепочка огней. Потом мы оглянулись на темное пятно Лувра, и я сказал:

– Ты и в самом деле думаешь, что все три арки расположены на одной прямой? Эти две и Сермионская арка в Милане?

– Не знаю, Тэти. Говорят, что так, и, наверно, не зря. Ты помнишь, как мы карабкались по снегу, а на итальянской стороне Сен-Бернара сразу попали в весну, и потом ты, Чинк и я весь день спускались через весну к Аосте?

– Чинк назвал эту вылазку: «В туфлях через Сен-Бернар». Помнишь свои туфли?

– Мои бедные туфли! А помнишь, как мы ели фруктовый салат из персиков и земляники в высоких стеклянных бокалах со льдом у Биффи в Galleria и пили капри?

– Тогда-то я и вспомнил снова про три арки.

– Я помню Сермионскую арку. Она похожа на эту.

– А помнишь кабачок в Эгле, где вы с Чинком весь день читали в саду, пока я удил?

– Помню, Тэти.

Я вспомнил Рону, узкую, серую, вздувшуюся от талой воды, и два канала, где водилась форель, – Стокальпер и Ронский канал. Стокальпер был уже совсем прозрачен в тот день, но вода в Ронском канале все еще была мутной.

– А помнишь, как цвели конские каштаны и я старался вспомнить историю про глицинию, которую мне рассказал, кажется, Джим Гэмбл, и никак не мог?

– Помню, Тэти. И вы с Чинком все время говорили о том, как добиваться правды, когда пишешь, и правильно изображать, а не описывать. Я помню все. Иногда был прав он, а иногда ты. Я помню, как вы спорили об освещении, текстуре и форме.

К этому времени мы вышли из ворот Лувра, перешли улицу и, остановившись на мосту, облокотились о парапет и стали смотреть на реку.

– Мы все трое спорили обо всем на свете и всегда о каких-то очень конкретных вещах и подшучивали друг над другом. Я помню все, что мы делали, и все, что говорили во время того путешествия, – сказала Хэдли. – Правда. Все-все. Когда вы с Чинком разговаривали, я не оставалась в стороне. Не то что у мисс Стайн, где я всего лишь жена.

– Жаль, что я не могу вспомнить эту историю про глицинию.

– Это не важно. Важна была сама глициния, Тэти.

– Помнишь, я принес бутылку вина из Эгля к нам в шале? Нам продали его в гостинице. И сказали, что оно хорошо к форели. Кажется, мы завернули бутылку в «Газетт де Люцерн».

– Сионское было еще лучше. Помнишь, как госпожа Гангесвиш приготовила голубую форель, когда мы вернулись в шале? Какая это была вкусная форель, Тэти, и мы пили сионское вино, и обедали на веранде над самым обрывом, и смотрели на озеро, и на Дан-дю-Миди, наполовину одетую снегом, и на деревья в устье Роны, где она впадает в озеро.

– Зимой и весной нам всегда не хватает Чинка.

– Всегда. И сейчас, когда все позади, мне его не хватает.

Чинк был кадровым военным и из Сандхерста попал прямо под Монс. Я познакомился с ним в Италии, и он долгое время был сначала моим, а потом нашим с Хэдли лучшим другом. В ту пору он проводил с нами свои отпуска.

– Он постарается получить отпуск весной. Он писал об этом на прошлой неделе из Кельна.

– Знаю. Но пока надо жить сегодняшним днем и использовать каждую минуту.

– Мы стоим и смотрим, как бурлит вода у опор моста. А что, если поглядеть вверх по реке – что там?

Мы посмотрели и увидели все: нашу реку, и наш город, и остров нашего города.

– Слишком мы с тобой везучие, – сказала она. – Я надеюсь, что Чинк приедет. Он всегда о нас заботится.

– Сам-то он этого не думает.

– Конечно.

– Он думает, что мы вместе ищем.

– Так оно и есть. Но все зависит от того, что искать. Мы перешли мост и оказались на нашем берегу.

– Ты не проголодалась? – спросил я. – А то мы все ходим и разговариваем.

– Еще как, Тэти. А ты?

– Пойдем в какой-нибудь хороший ресторан и пообедаем по-королевски.

– Куда?

– Может, к Мишо?

– Прекрасно, и это совсем близко.

И мы пошли вверх по улице Святых Отцов, дошли до угла улицы Жакоб, останавливаясь и разглядывая выставленные в витринах картины и мебель. У входа в ресторан Мишо мы ознакомились с меню, вывешенным на двери. У Мишо не было свободных мест, и нам пришлось подождать, пока кто-нибудь уйдет, и мы следили за теми столиками, где уже допивали кофе.

Мы еще больше проголодались от ходьбы, а ресторан Мишо был для нас очень заманчивым и дорогим. Там обедал Джойс с семьей: он и его жена сидели у стены, и Джойс через толстые стекла очков изучал меню, держа его на уровне глаз; рядом с ним – Нора, она ела мало, но с аппетитом, напротив – Джорджио, худой, щеголеватый, с гладко прилизанным затылком, и Лючия, почти еще девочка, с тяжелой копной курчавых волос; вся семья говорила по-итальянски.

Пока мы стояли, я думал, можно ли назвать просто голодом то ощущение, которое мы испытали там, на мосту. Я задал этот вопрос жене, и она сказала:

– Не знаю, Тэти. Есть так много разновидностей голода. Весной их еще больше. Но теперь это уже позади. Воспоминания – тоже голод.

Я не все понял из ее слов; глядя в окно ресторана на официанта с двумя [tournedos](#)¹⁵ на тарелке, я обнаружил, что меня мучает самый обычный голод.

– Ты сказала, что нам сегодня везет. Нам действительно повезло. Но ведь нам подсказали, на кого ставить.

Она засмеялась.

– Я не скачки имела в виду. Ты все понимаешь буквально. Я сказала «везучие» в другом смысле.

– Чинка, по-моему, скачки не интересуют, – сказал я, снова проявляя непонимание.

– Да. Они интересовали бы его лишь в том случае, если бы он сам принимал в них участие.

– Ты не хочешь больше ходить на скачки?

– Хочу. И теперь мы сможем ходить на них когда вздумается.

– Нет, правда хочешь?

– Конечно. Ты ведь тоже хочешь, да?

Попав наконец к Мишо, мы прекрасно пообедали, но когда мы поели и о еде уже не думали, чувство, которое на мосту мы приняли за голод, не исчезло и жило в нас, пока мы ехали на автобусе домой. Оно не исчезло, когда мы вошли в комнату и легли в постель, и когда мы любили друг друга в темноте, оно тоже не исчезло. И когда я проснулся и увидел в открытые окна лунный свет на крышах высоких домов, оно тоже не исчезло. Я отодвинулся, чтобы луна не светила мне в лицо, но заснуть уже не мог и лежал с открытыми глазами и думал об этом. Мы оба дважды просыпались за ночь, и теперь жена крепко спала, и на лицо ее падал свет луны. А я все думал об одном и том же и по-прежнему ничего не мог понять. А еще утром я видел обманную весну, и слышал дудку пастуха, гнавшего коз, и ходил за утренней программой скачек, и жизнь казалась такой простой.

Но Париж очень старый город, а мы были молоды, и все там было не просто – и бедность, и неожиданное богатство, и лунный свет, и справедливость или зло, и дыхание той, что лежала рядом с тобой в лунном свете.

Конец одного увлечения

В этом году и на протяжении еще нескольких лет мы много раз бывали вместе на скачках, после того как я кончал утреннюю работу, и Хэдли это нравилось, а иногда даже захлестывало ее. Но это было совсем не то, что взбираться к высокогорным лугам, лежащим за поясом лесов, или возвращаться поздним вечером в шале, или отправляться с Чинком, нашим лучшим другом, через перевал в еще неведомые места. И интересовали нас не сами скачки, а возможность играть. Но мы называли это увлечением скачками.

Скачки никогда не разделяли нас – на это были способны только люди; но долгое время они были нашим близким и требовательным другом. Во всяком случае, так приятнее было думать. И я, праведно негодовавший на людей за их способность все разрушать, был снисходителен к этому другу – самому лживому, самому прекрасному, самому влекущему, порочному и требовательному – потому что из него можно было извлекать выгоду. Для того чтобы скачки стали источником дохода, нужно было отдавать им все время, а его у меня не было. Но я оправдывал свое увлечение тем, что писал о нем, хотя в конце концов все, что я писал, пропало и из рассказов о скачках уцелел всего один, потому что он путешествовал тогда по почте.

Потом я стал чаще ходить на скачки один, и они меня все больше увлекали и затягивали. Как только представлялась возможность, я ездил на оба ипподрома – в Отейль и Энгиен. Для того чтобы ставить более или менее наверняка, надо было посвящать скачкам все время, но так жить было невозможно. Расчеты на бумаге остававшись расчетами на бумаге. И результаты их можно было узнать из любой газеты.

В Отейле лучше всего было наблюдать стипль-чез с верхних трибун, и приходилось взлетать по ступенькам, чтобы успеть увидеть, как идет каждая лошадь, и заметить лошадь, которая могла бы выиграть, но не выиграла, и понять, почему и как это произошло. Надо было следить за ставками и за всеми изменениями котировки каждый раз, когда бежала лошадь, которую ты изучал. И надо было правильно оценить, как она работает, чтобы угадать момент, когда на нее поставят знатоки. И в этом случае она тоже могла проиграть, но ты уже знал, каковы ее шансы. Это было трудной задачей, но как чудесно было изо дня в день смотреть скачки в Отейле, когда удавалось вырваться туда и присутствовать при честном соревновании великолепных лошадей. К этому времени ты уже знал

ипподром как свои пять пальцев. В конце концов ты приобретал там массу знакомых: жокеев, и тренеров, и владельцев лошадей – и узнавал многих лошадей, и проникал в тайну многих других вещей.

Как правило, я ставил только на лошадь, которую знал, но иногда я открывал лошадей, в которых никто не верил, кроме тренеров и жокеев, и которые выигрывали заезд за заездом, а я ставил на них. В конце концов я перестал ходить на скачки, потому что они отнимали слишком много времени и затягивали меня, а, кроме того, я знал слишком много о том, что происходило в Энгиене и на других ипподромах, где устраивали гладкие скачки.

Я был рад, что перестал играть на скачках, но испытывал какую-то пустоту. В то время я уже знал, что, когда что-то кончается в жизни, будь то плохое или хорошее, остается пустота. Но пустота, оставшаяся после плохого, заполняется сама собой. Пустоту же после чего-то хорошего можно заполнить, только отыскав что-то лучшее. Я вложил деньги, предназначавшиеся для скачек, в общий фонд, и мне стало легко и хорошо.

В тот день, когда я бросил скачки, я отправился на другой берег Сены, в отделение компании «Гаранти траст», которая в то время помещалась на углу Итальянской улицы и Итальянского бульвара, и встретил своего приятеля Майка Уорда. Я пришел туда положить в банк деньги, предназначавшиеся для скачек, но никому об этом не сказал. Я не занес их в чековую книжку, а просто запомнил сумму.

– Пойдем пообедаем? – предложил я Майку.

– Пошли, малыш. Я не прочь. Что случилось? Разве ты не едешь на ипподром?

– Нет.

На площади Лувуа мы пообедали в очень хорошем простом бистро, где нам подали чудесное белое вино. Напротив через площадь была Национальная библиотека.

– Ты ведь не часто бываешь на скачках, Майк? – спросил я.

– Нет. Я уже давно не был на ипподроме.

– А почему?

– Не знаю, – ответил Майк. – Впрочем, знаю. Если зрелище захватывает тебя только из-за денег, значит, на него не стоит смотреть.

– И ты больше не ходишь на ипподром?

– Иногда хожу. На большие скачки с самыми лучшими лошадьми.

Мы намазали паштет на вкусный хлеб, который подавали в бистро, и запили белым вином.

– Но прежде ты ведь увлекался скачками, Майк?

- Да, конечно.
- А что ты нашел взамен?
- Велогонки.
- Да ну?
- Там не обязательно играть. Вот увидишь.
- Скачки отнимают много времени.
- Слишком много времени. Они отнимают все время. И публика мне там не нравится.
- Я очень увлекался.
- Знаю. Ты не прогорел?
- Нет.
- Самое время бросить, – сказал Майк.
- А я и бросил.
- Это нелегко. Послушай, малыш, пойдем как-нибудь на велогонки.

Велогонки были прекрасной новинкой, почти мне не известной. Но мы увлеклись ими не сразу. Это произошло позже. Им суждено было сыграть большую роль в нашей жизни в ту пору, когда первый парижский период безвозвратно пришел к концу.

Но долгое время нам было хорошо жить в нашей части Парижа, далеко от ипподрома, и делать ставку на самих себя и свою работу и на художников, которых мы знали, вместо того чтобы зарабатывать на жизнь игрой и называть это по-другому. Я начинал много рассказов о велогонках, но так и не написал ни одного, который мог бы сравниться с самими гонками на закрытых и открытых треках или на шоссе. Но я все-таки покажу Зимний велодром в дымке уходящего дня, и крутой деревянный трек, и шуршание шин по дереву, и напряжение гонщиков, и их приемы, когда они взлетают вверх и устремляются вниз, слившись со своими машинами; покажу все волшебство [demifond16](#): ревущие мотоциклы с роликами позади и [entraoneurs17](#) в тяжелых защитных шлемах и кожаных куртках, которыми они загораживают от встречного потока воздуха велогонщиков в легких шлемах, пригнувшихся к рулю и бешено крутящих педали, чтобы переднее колесо не отставало от ролика позади мотоцикла, рассекающего для них воздух, и треск моторов, и захватывающие дух поединки между гонщиками, летящими локоть к локтю, колесо к колесу, вверх-вниз и все время вперед на смертоносных скоростях до тех пор, пока кто-нибудь один, потеряв темп, не отстанет от лидера и не ударится о жесткую стену воздуха, от которого он до сих пор был огражден.

Разновидностей велогонок было очень много. Обычный спринт с отдельным стартом или матчевые гонки, когда два гонщика долгие

секунды балансируют на своих машинах, чтобы заставить соперника вести, потом несколько медленных кругов и, наконец, резкий бросок в захватывающую чистоту скорости. Кроме того, двухчасовые командные гонки с несколькими спринтерскими заездами для заполнения времени; одиночные состязания на абсолютную скорость, когда гонщик в течение часа соревнуется со стрелкой секундомера; очень опасные, но очень красивые гонки на сто километров за тяжелыми мотоциклами по крутому деревянному треку пятисотметровой чаши «Буффало» – открытого стадиона в Монруже; знаменитый бельгийский чемпион Линар, которого из-за профиля прозвали Сиу¹⁸; к концу гонки он увеличивал и без того страшную скорость, пригибал голову и сосал коньяк из резиновой трубки, соединенной с грелкой у него под майкой; и чемпионаты Франции по гонкам за лидером на бетонном треке в шестьсот шестьдесят метров длиной в парке возле Отейля, – самом коварном треке, где на наших глазах разбился великий Гана и мы слышали хруст черепа под его защитным шлемом, точно на пикнике кто-то разбил о камень крутое яйцо. Я должен описать необыкновенный мир шестидневных велогонок и удивительные шоссейные гонки в горах. Один лишь французский язык способен выразить все это, потому что термины все французские. Вот почему так трудно об этом писать. Майк был прав. Велогонки хороши потому, что там не обязательно играть. Но все это относится уже к другому периоду моей жизни в Париже.

На выучке у голода

Когда в Париже живешь впроголодь, есть хочется особенно сильно, потому что в витринах всех булочных выставлены всевозможные вкусные вещи, а люди едят за столиками прямо на тротуаре, и ты видишь еду и вдыхаешь ее запах. Если ты бросил журналистику и пишешь вещи, которые в Америке никто не купит, а своим домашним сказал, что приглашен кем-то на обед, то лучше всего пойти в Люксембургский сад, где на всем пути от площади Обсерватории до улицы Вожирар тебя не смутит ни вид, ни запах съестного. И можно зайти в Люксембургский музей, где картины становятся яснее, проникновеннее и прекраснее, когда сосет под ложечкой и живот подвело от голода. Пока я голодал, я научился гораздо лучше понимать Сезанна и по-настоящему постиг, как он создавал свои пейзажи. Я часто спрашивал себя, не голодал ли и он, когда работал. Но решил, что он, наверно, просто забывал поесть. Такие не слишком здравые мысли-открытия приходят в голову от бессонницы или недоедания. Позднее я решил, что Сезанн все-таки испытывал голод, но другой.

Из Люксембургского сада можно пройти по узкой улице Феру к площади Сен-Сюльпис, где тоже нет ни одного ресторана, а только тихий сквер со скамьями и деревьями. И фонтан со львами, а по мостовой бродят голуби и усаживаются на статуи епископов. На северной стороне площади – церковь и лавки, торгующие разной церковной утварью.

Если отправиться отсюда дальше, к реке, то не минуешь булочных, кондитерских и лавок, торгующих фруктами, овощами и вином. Однако, тщательно обдумав, какой дорогой идти, можно повернуть направо, обойти вокруг серо-белой церкви и выйти на улицу Одеон, а там еще раз повернуть направо, к книжной лавке Сильвии Бич – на этом пути не так уж много заведений, торгующих едой. На улице Одеон нет ни кафе, ни закусочных до самой площади, где три ресторана.

Пока доберешься до дома двенадцать по улице Одеон, голод уже притупится, зато восприятие снова обостряется. Фотографии кажутся другими, и ты видишь книги, которых прежде никогда не замечал.

– Вы что-то похудели, Хемингуэй, – сказала Сильвия. – Вы хорошо питаетесь?

– Конечно.

– Что вы ели на обед?

Меня мутило от голода, но я ответил:

– Я как раз иду домой обедать.

– В три-то часа?

– Я не заметил, что так поздно.

– На днях Адриенна сказала, что хочет пригласить вас с Хэдли на ужин. Мы бы позвали Фарга. Вам он, кажется, симпатичен? Или Ларбо. Он вам, бесспорно, нравится. Я знаю, что нравится. Или еще кого-нибудь, кто вам по-настоящему по душе. Поговорите с Хэдли, хорошо?

– Я уверен, она с удовольствием пойдет.

– Я пошлю ей рпеу [19](#). И не работайте так много, раз вы едите кое-как.

– Не буду.

– Ну, идите домой, а то опоздаете к обеду.

– Ничего, мне оставят.

– Только не ешьте ничего холодного. Хороший горячий обед – вот что вам нужно.

– Мне есть письма?

– По-моему, нет. Впрочем, сейчас посмотрю.

Она посмотрела, нашла письмо, весело мне улыбнулась и отперла ящик своей конторки.

– Письмо принесли в мое отсутствие, – сказала она.

Я взял конверт – на ощупь в нем были деньги.

– От Веддеркопа, – сказала Сильвия.

– Должно быть, из журнала «Квершнитт». Вы виделись с Веддеркопом?

– Нет. Но он заходил сюда с Джорджем. Он повидается с вами, не беспокойтесь. Наверно, он хотел сначала заплатить вам.

– Здесь шестьсот франков. Он пишет, что это еще не все.

– Как хорошо, что вы спросили меня про письма. До чего же он милый, этот мистер Очень Приятно!

– Чертовски забавно, что мои вещи покупают только в Германии. Он да еще «Франкфуртер цейтунг».

– Правда, забавно. Но не стоит огорчаться. Можете продать свои рассказы Форду, – поддразнила она меня.

– По тридцать франков за страницу. Скажем, по рассказу раз в три месяца в «Трансатлантих». Значит, за рассказ в пять страниц – сто пятьдесят франков в квартал, иначе говоря, шестьсот франков в год.

– Слушайте, Хемингуэй, не думайте о том, сколько вам за них сейчас платят. Важно то, что вы можете их писать.

– Знаю. Я могу писать рассказы. Но ведь их никто не берет. С тех пор как я бросил журналистику, я ничего не зарабатываю.

– Не огорчайтесь, их еще купят. Смотрите, за один вы ведь уже получили.

– Извините, Сильвия. Простите, что я заговорил об этом.

– За что же извиняться? Говорите, сколько угодно, и об этом, и о чем хотите. Разве вы не знаете, что писатели только и говорят что о своих бедах? Но обещайте мне, что перестанете волноваться и будете питаться как следует.

– Обещаю.

– Тогда отправляйтесь домой обедать.

Выйдя из лавки на улицу Одеон, я почувствовал отвращение к себе за эти жалобы. Всему виной моя собственная глупость. Надо было купить большой ломоть хлеба и съесть его, вместо того чтобы ходить голодным. Я даже почувствовал вкус румяной, хрустящей корочки. Но ее надо чем-то запить. "Ах ты, чертов нытик, вздумал корчить из себя святого мученика! – сказал я себе. – Ты бросил журналистику по доброй воле. У тебя есть кредит, и Сильвия всегда одолжила бы тебе денег. Так уже не раз бывало. Тут и сомневаться нечего. Но ты все стараешься найти себе оправдание. Голод полезен для здоровья, и картины действительно смотрятся лучше на пустой желудок. Но еда тоже чудесная штука, и знаешь ли ты, где будешь сейчас обедать?"

У Липпа – вот ты где будешь есть. И пить тоже.

До Липпа было недалеко, и все те места на пути к нему, которые мой желудок замечал так же быстро, как глаза или нос, теперь делали этот путь особенно приятным. В [brasserie20](#) было пусто, и, когда я сел за столик у стены, спиной к зеркалу, и официант спросил, подать ли мне пива, я заказал *distingue* – большую стеклянную литровую кружку – и картофельный салат.

Пиво оказалось очень холодным, и пить его было необыкновенно приятно. Картофельный салат был хорошо приготовлен и приправлен уксусом и красным перцем, а оливковое масло было превосходным. Я посыпал салат черным перцем и обмакнул хлеб в оливковое масло. После первого жадного глотка пива я стал есть и пить не торопясь. Когда с салатом было покончено, я заказал еще порцию, а также *cervelas* – большую толстую сосиску, разрезанную вдоль на две части и политую особым горчичным соусом.

Я собрал хлебом все масло и весь соус и медленно потягивал пиво, но оно уже не было таким холодным, и тогда, допив его, я заказал поллитровую кружку и смотрел, как она наполнялась. Пиво показалось мне холоднее, чем прежде, и я выпил половину.

«Вовсе я не волнуюсь», – думал я. Я знал, что мои рассказы хороши и

что рано или поздно кто-нибудь напечатает их и на родине. Отказываясь от газетной работы, я не сомневался, что рассказы будут опубликованы. Но один за другим они возвращались ко мне. Моя уверенность объяснялась тем, что Эдвард О'Брайен включил рассказ «Мой старик» в сборник «Лучшие рассказы года» и посвятит этот сборник мне. Я рассмеялся и отхлебнул из кружки пива. Этот рассказ не был напечатан ни в одном журнале, и О'Брайен поместил его в сборник вопреки всем своим правилам. Я снова рассмеялся, и официант взглянул на меня. Смешно мне было потому, что при всем том мою фамилию он написал неправильно. Это был один из двух рассказов, оставшихся у меня после того, как все написанное мною было украдено у Хэдди на Лионском вокзале вместе с чемоданом, в котором она везла все мои рукописи в Лозанну, чтобы устроить мне сюрприз – дать возможность поработать над ними во время нашего отдыха в горах. Она уложила в папки оригиналы, машинописные экземпляры и все копии. Рассказ, о котором идет речь, сохранился только потому, что Линкольн Стеффенс отправил его какому-то редактору, а тот отослал его обратно. Все остальные рассказы украли, а этот лежал на почте. Второй рассказ, «У нас в Мичигане», был написан до того, как у нас в доме побывала мисс Стайн. Я так и не перепечатал его на машинке, потому что она объявила его *inaccessable*. Он завалился в одном из ящиков стола.

И вот, когда мы уехали из Лозанны в Италию, я показал рассказ о скачках О'Брайену, мягкому, застенчивому человеку, бледному, со светло-голубыми глазами и прямыми волосами, которые он подстригал сам. Он жил тогда в монастыре в горах над Рапалло. Это было скверное время, я был убежден, что никогда больше не смогу писать, и показал ему рассказ как некую диковину: так можно в тупом оцепенении показывать компас с корабля, на котором ты когда-то плавал и который погиб каким-то непонятным образом, или подобрать собственную ногу в башмаке, ампутированную после катастрофы, и шутить по этому поводу. Но когда О'Брайен прочитал рассказ, я понял, что ему больно даже больше, чем мне. Прежде я думал, что такую боль может вызвать только смерть или какое-то невыносимое страдание; но когда Хэдди сообщила мне о пропаже всех моих рукописей, я понял, что ошибался. Сначала она только плакала и не решалась сказать. Я убеждал ее, что, как бы ни было печально случившееся, оно не может быть таким уж страшным и, что бы это ни было, не надо расстраиваться, все уладится. Потом наконец она все рассказала. Я не мог поверить, что она захватила и все копии, подыскал человека, который временно взял на себя мои корреспондентские

обязанности, сел на поезд и уехал в Париж, – я тогда неплохо зарабатывал журналистикой. То, что сказала Хэдли, оказалось правдой, и я хорошо помню, как провел ту ночь в нашей квартире, убедившись в этом. Но теперь все это было уже позади, а Чинк научил меня никогда не говорить о потерях; и я сказал О'Брайену, чтобы он не принимал этого так близко к сердцу. Возможно, даже и лучше, что мои ранние рассказы пропали, и я утешал О'Брайена, как утешают солдат после боя. Я скоро снова начну писать рассказы, сказал я, прибегая ко лжи только ради того, чтобы утешить его, но тут же понял, что говорю правду.

И теперь, сидя у Липпа, я начал вспоминать, когда же я сумел написать свой первый рассказ, после того как потерял все. Это было в те дни, когда я вернулся в Кортина-д'Ампеццо к Хэдли, после того как весной мне пришлось на время прервать катание на лыжах и съездить по заданию газеты в Рейнскую область и Рур. Это был очень незамысловатый рассказ «Не в сезон», и я опустил настоящий конец, заключающийся в том, что старик повесился. Я опустил его, согласно своей новой теории: можно опускать что угодно при условии, если ты знаешь, что опускаешь, – тогда это лишь укрепляет сюжет и читатель чувствует, что за написанным есть что-то, еще не раскрытое.

Ну что ж, подумал я, теперь я пишу рассказы, которых никто не понимает. Это совершенно ясно. И уж совершенно несомненно то, что на них нет спроса. Но их поймут – точно так, как это бывает с картинами. Нужно лишь время и вера в себя.

Когда приходится экономить на еде, надо держать себя в руках, чтобы не думать слишком много о голоде. Голод хорошо дисциплинирует и многому учит. И до тех пор, пока читатели не понимают этого, ты впереди них. «Еще бы, – подумал я, – сейчас я настолько впереди них, что даже не могу обедать каждый день. Было бы неплохо, если бы они немного сократили разрыв».

Я знал, что должен написать роман, но эта задача казалась непосильной, раз мне с трудом давались даже абзацы, которые были лишь выжимкой того, из чего делаются романы. Нужно попробовать писать более длинные рассказы, словно тренируясь к бегу на более длинную дистанцию. Когда я писал свой роман, тот, который украли с чемоданом на Лионском вокзале, я еще не утратил лирической легкости юности, такой же непрочной и обманчивой, как сама юность. Я понимал, что, быть может, и хорошо, что этот роман пропал, но понимал и другое: я должен написать новый. Но начну я его лишь тогда, когда уже не смогу больше откладывать. Будь я проклят, если напишу роман только ради того, чтобы обедать

каждый день! Я начну его, когда не смогу заниматься ничем другим и иного выбора у меня не будет. Пусть потребность становится все настоятельнее. А тем временем я напишу длинный рассказ о том, что знаю лучше всего.

К этому времени я уже расплатился, вышел и, повернув направо, пересек улицу Ренн, чтобы избежать искушения выпить кофе в «Де-Маго», и пошел по улице Бонапарта кратчайшим путем домой.

Что же из не написанного и не потерянного мною я знаю лучше всего? Что я знаю всего достовернее и что мне больше всего дорого? Мне нечего было выбирать. Я мог выбирать только улицы, которые быстрее привели бы меня к рабочему столу. По улице Бонапарта я дошел до улицы Гинемэ, потом до улицы Асса и зашагал дальше по Нотр-Дам-де-Шан к кафе «Клозери-де-Лиля».

Я сел в углу – так, чтобы через мое плечо падали лучи вечернего солнца, и стал писать в блокноте. Официант принес мне *safe-creme*, я подождал, пока он остыл, выпил полчашки и, отодвинув чашку, продолжал писать. Я кончил писать, но мне не хотелось расставаться с рекой, с форелью в заводи, со вздувающейся у свай водой. Это был рассказ о возвращении с войны, но война в нем не упоминалась.

Но ведь река и утром будет здесь, и я должен написать о ней, и об этом крае, и обо всем, что тут произойдет. И каждый день – много дней – я буду делать это. Все остальное ничего не значит. У меня в кармане деньги, которые я получил из Германии, и можно ни о чем не думать. Когда они кончатся, появятся какие-нибудь другие.

А сейчас нужно одно: сохранить ясность мысли до утра, когда я снова возьмусь за работу.

Форд Мэдокс Форд и ученик дьявола

Когда мы жили над лесопилкой в доме сто тринадцать по улице Нотр-Дам-де-Шан, ближайшее хорошее кафе было «Клозери-де-Ли́ла», – оно считалось одним из лучших в Париже. Зимой там было тепло, а весной и осенью круглые столики стояли в тени деревьев на той стороне, где возвышалась статуя маршала Нея; обычные же квадратные столы расставлялись под большими тентами вдоль тротуара, и сидеть там было очень приятно. Двое официантов были нашими хорошими друзьями. Завсегдатаи кафе «Купол» и «Ротонда» никогда не ходили в «Ли́ла». Они никого здесь не знали, и никто не стал бы их разглядывать, если бы они все-таки пришли. В те дни многие ходили в кафе на перекрестке бульваров Монпарнас и Распай, чтобы показаться на людях, и в какой-то мере эти кафе дарили такое же кратковременное бессмертие, как столбцы газетной хроники.

Когда-то в «Клозери-де-Ли́ла» более или менее регулярно собирались поэты, и последним известным из них был Поль Фор, которого я так никогда и не прочел. Однако единственный поэт, которого я там видел, был Блэз Сандрар с изувеченным лицом боксера и пришпиленным к плечу пустым рукавом – он сворачивал сигареты уцелевшей рукой и был хорошим собеседником, пока не напивался, и его вранье было намного интересней правдивых историй, рассказываемых другими. Он был единственным поэтом, ходившим тогда в «Ли́ла», но я видел его там всего раз. Большинство же посетителей были пожилые, бородатые люди в поношенных костюмах – они приходили со своими женами или любовницами, и у некоторых в петлице была узкая красная ленточка Почетного легиона, а у других ее не было. Мы великодушно считали их учеными – *savants*, и они сидели за своими аперитивами почти так же долго, как посетители в еще более потрепанных костюмах, которые со своими женами или любовницами пили *safe-creme* и носили в петлицах лиловые академические розетки, не имевшие никакого отношения к Французской Академии и, как мы думали, означавшие, что это преподаватели или школьные надзиратели.

Эти посетители делали кафе очень уютным, так как они интересовались лишь друг другом, своими аперитивами и кофе, а также газетами и журналами, прикрепленными к деревянным палкам, и никто здесь не служил объектом обозрения.

В «Ли́ла» ходили и жители Латинского квартала, и у некоторых из них в петлицах были ленточки Военного креста, а у других были еще и желто-зеленые ленточки Военной медали, и я наблюдал за тем, как ловко они научились обходиться без потерянных конечностей, и оценивал качество их искусственных глаз и степень мастерства, с каким были восстановлены их лица. Серьезная пластическая операция придает коже почти радужный блеск, – так поблескивает хорошо утрамбованная лыжня, и этих посетителей мы уважали больше, чем savants или учителей, хотя последние вполне могли побывать на войне, но только избежали увечья.

В те дни мы не доверяли людям, которые не побывали на войне, а полностью мы вообще никому не доверяли, и многие считали, что Сандрар мог бы и поменьше демонстрировать отсутствие руки. Я был рад, что он зашел в «Ли́ла» днем, пока туда не нахлынули завсегдатаи.

В тот вечер я сидел за столиком перед «Ли́ла» и смотрел, как меняется освещение деревьев и домов и как по ту сторону бульвара медлительные битюги тянут повозки. Дверь кафе сзади, справа от меня, отворилась, и какой-то человек подошел к моему столику.

– А, вот вы где! – сказал он.

Это был Форд Мэдокс Форд, как он тогда называл себя. Он тяжело отдувался в густые крашенные усы и держался прямо, словно ходячая, хорошо одетая пивная бочка.

– Разрешите сесть с вами? – спросил он, садясь и глядя на бульвар водянистыми голубыми глазами из-под блудных век и бесцветных ресниц. – Я потратил лучшие годы жизни на то, чтобы этих кляч убивали гуманным способом, – сказал он.

– Вы мне это уже говорили, – сказал я.

– Не думаю,

– Я абсолютно уверен.

– Странно. Я никогда об этом никому не говорил.

– Хотите выпить?

Официант стоял рядом, и Форд заказал себе вермут «шамбери касси». Официант, высокий, худой, с большой плешью, прикрытой прилизанными волосами, и со старомодными драгунскими усами, повторил заказ.

– Нет. Принесите fine a l'eau²¹ – сказал Форд.

– Fine a l'eau для мосье, – повторил официант.

Я всегда избегал смотреть на Форда и старался пореже дышать, находясь с ним в одной комнате, но сейчас мы сидели на воздухе, и ветер гнал опавшие листья по тротуару от меня к нему, так что я внимательно посмотрел на него, пожалел об этом и стал смотреть на бульвар. Освещение

уже успело измениться, но я пропустил эту перемену. Я сделал глоток, чтобы узнать, не испортил ли приход Форда вкус коньяка, коньяк был по-прежнему хорош.

– Вы что-то мрачны, – сказал он.

– Нет.

– Мрачны, мрачны. Вам надо чаще проветриваться. Я зашел сюда, чтобы пригласить вас на наши скромные вечера, которые мы устраиваем в этом забавном танцевальном зале на улице Кардинала Лемуана, близ площади Контрэскарп.

– Я два года жил над этим танцевальным залом задолго до вашего последнего приезда в Париж.

– Как странно. Вы уверены?

– Да, – ответил я. – Уверен. У хозяина этого заведения было такси, и, когда я торопился на самолет, он возил меня на аэродром, и перед тем, как ехать, мы всегда шли в танцевальный зал и выпивали в темноте у оцинкованной стойки по стакану белого вина.

– Не люблю самолетов, – сказал Форд. – Приходите с женой в субботу вечером в танцевальный зал. Будет очень весело. Я нарисую вам план, чтобы вам легче было найти это место. Я наткнулся на него совершенно случайно.

– Подвал дома семьдесят четыре на улице Кардинала Лемуана, – сказал я. – Я жил на четвертом этаже.

– Там нет номера, – сказал Форд. – Но вы легко отыщете это место, если сумеете найти площадь Контрэскарп.

Я сделал еще один большой глоток. Официант принес заказ Форда, и Форд сделал ему выговор.

– Я просил не коньяк с содовой, – сказал он назидательно, но строго. – Я заказал вермут «шамбери касси».

– Ладно, Жан, – сказал я. – Я возьму этот коньяк. А мосье принесите то, что он заказал сейчас.

– То, что я заказал раньше, – поправил Форд.

В этот момент мимо нас по тротуару прошел довольно худой человек в накидке. Он шел рядом с высокой женщиной и, скользнув взглядом по нашему столику, посмотрел в сторону и направился дальше.

– Вы заметили, что я с ним не раскланялся? – спросил Форд. – Нет, вы заметили, что я с ним не раскланялся?

– Нет. А с кем вы не раскланялись?

– Да с Беллоком, – сказал Форд. – Как блистательно я с ним не раскланялся!

– Я не заметил. А зачем вы это сделали?

– На это у меня есть тысяча веских причин, – ответил Форд. – Эх, и блистательно же я с ним не раскланялся!

Он был безгранично счастлив. Я почти не заметил Беллока и думаю, что и он не заметил нас. У него был задумчивый вид, и он автоматически скользнул взглядом по нашему столику. Мне стало неприятно, что Форд был груб с ним: как молодой, начинающий писатель, я испытывал уважение к Беллоку, писателю старшего поколения. Сейчас это трудно понять, но в те дни так бывало нередко.

«Хорошо бы, Беллок остановился у нашего столика», – подумал я. Вечер был испорчен встречей с Фордом, и мне казалось, что Беллок мог бы исправить положение.

– Для чего вы пьете коньяк? – спросил Форд. – Разве вы не знаете, что коньяк губит молодых писателей?

– Я пью его довольно редко, – ответил я.

Я старался вспомнить, что Эзра Паунд говорил мне о Форде, – о том, что я не должен ему грубить и должен помнить, что Форд лжет только тогда, когда очень устал, что он действительно хороший писатель и у него были очень большие семейные неприятности. Я изо всех сил старался помнить обо всем этом, но это было очень трудно, потому что рядом со мной сидел сам Форд – грузный, сопящий, неприятный человек. Все-таки я старался.

– Объясните мне, в каких случаях люди не раскланиваются? – спросил я.

До сих пор я думал, что это бывает только в романах Уйды. Я никогда не читал романов Уйды, даже во время лыжного сезона в Швейцарии, когда дул сырой южный ветер, и все взятые с собой книги были прочитаны, и оставались только забытые в пансионе довоенные издания Таухница. Но какое-то шестое чувство подсказывало мне, что в ее романах люди не раскланиваются друг с другом.

– Джентльмен, – объяснил Форд, – никогда не раскланивается с подлецом.

Я быстро отхлебнул коньяку.

– А с хамом? – спросил я.

– Джентльмен не бывает знаком с хамами.

– Значит, не раскланиваются только с людьми одного с вами круга?

– Само собой разумеется.

– А как же тогда знакомятся с подлецом?

– Подлеца можно сразу и не распознать, а кроме того, человек может

стать им.

– А что такое подлец? – спросил я. – Кажется, это тот, кого положено бить по физиономии.

– Совсем не обязательно, – ответил Форд.

– А Эзра Паунд джентльмен? – спросил я.

– Конечно, нет, – ответил Форд. – Он американец.

– А американец не может быть джентльменом?

– Разве что Джон Куин, – уточнил Форд. – Или некоторые из ваших послов.

– Майрон Т. Геррик?

– Возможно.

– А Генри Джеймс был джентльменом?

– Почти.

– Ну а вы джентльмен?

– Разумеется. Я был на службе его величества.

– Сложное дело, – сказал я. – А я джентльмен?

– Конечно, нет, – ответил Форд.

– Тогда почему вы пьете со мной?

– Я пью с вами как с многообещающим молодым писателем. Как с товарищем по перу.

– Очень мило с вашей стороны, – сказал я.

– В Италии вас, вероятно, считали бы джентльменом, – сказал Форд великодушно.

– Но я не подлец?

– Разумеется, нет, мой милый. Разве я сказал что-нибудь подобное?

– Но могу стать им, – сказал я с грустью. – Пью коньяк и вообще... Именно это и произошло с лордом Гарри Хотспером у Тrolлопа. Скажите, а Тrolлоп был джентльменом?

– Конечно, нет.

– Вы уверены?

– Тут могут быть разные мнения. Но только не у меня.

– А Филдинг? Он ведь был судьей.

– Формально, возможно.

– Марло?

– Конечно, нет.

– Джон Донн?

– Он был священник.

– Как увлекательно, – сказал я.

– Рад, что вам это интересно, – сказал Форд. – Перед тем как уйти, я

выпью с вами коньяку.

Когда Форд ушел, было уже совсем темно, и я пошел к киоску и купил «Пари-спорт», вечерний выпуск с результатами скачек в Отейле и программой заездов на следующий день в Энгиене. Официант Эмиль, сменивший Жана, подошел к столу узнать результат последнего заезда в Отейле. Мой близкий друг, редко заходивший в «Ли́ла», сел за мой столик, и в ту минуту, когда он заказывал Эмилю коньяк, мимо нас по тротуару снова прошли худой человек в накидке и высокая женщина. Он скользнул взглядом по нашему столику и прошел дальше.

– Это Илэр Беллок, – – сказал я своему другу. – Тут недавно был Форд и не пожелал с ним раскланяться.

– Не говори глупостей, – сказал мой приятель. – Это Алистер Кроули, поклонник дьявола. Его считают самым порочным человеком на свете.

– Прошу прощения, – сказал я.

Рождение новой школы

Синие блокноты, два карандаша и точилка (карманный нож слишком быстро съедает карандаш), мраморные столики, запах раннего утра, свежий и всеочищающий, да немного удачи – вот и все, что требовалось.

А удачу должны принести конский каштан и кроличья лапка в правом кармане. Меха кроличьей лапки давным-давно стерся, а косточки и сухожилия стали как полированные. Когти царапали подкладку кармана, и ты знал, что твоя удача с тобой.

В иные дни все шло хорошо и удавалось написать так, что ты видел этот край, мог пройти через сосновый лес и просеку, а оттуда подняться на обрыв и окинуть взглядом холмы за излучиной озера. Случалось, кончик карандаша ломался в воронке точилки, и тогда ты открывал маленькое лезвие перочинного ножа, чтобы вычистить точилку, или же тщательно заострял карандаш острым лезвием, а затем продевал руку в пропитанные соленым потом ремни рюкзака, вскидывал его, просовывал вторую руку и начинал спускаться к озеру, чувствуя под мокасинами сосновые иглы, а на спине – тяжесть рюкзака.

Но тут раздавался чей-то голос.

– Привет, Хем. Чем это ты занимаешься? Пишешь в кафе.

Значит, удача ушла от тебя, и ты закрывал блокнот. Это худшее из всего, что могло случиться. И лучше было бы сдержаться, но в то время я не умел сдерживаться, а потому сказал:

– За каким чертом тебя принесло сюда, сукин ты сын!

– Если ты желаешь оригинальничать, это еще не дает тебе права ругаться.

– Убирайся отсюда вместе со своим паршивым длинным языком.

– Это кафе. И у меня такое же право сидеть здесь, как и у тебя.

– Катись к себе в «Хижину». Тут тебе нечего делать.

– О, господи! Перестань валять дурака.

Теперь уже можно было высказаться напрямик, уповая на то, что он зашел сюда случайно, без всякой задней мысли, и вслед за ним не хлынет целый поток. Работать можно было бы и в других кафе, но до них было неблизко, а это кафе стало моим родным домом. Я не хотел, чтобы меня выжили из «Клозери-де-Лила». Надо было либо сопротивляться, либо отступить. Разумнее было бы отступить, но я начал злиться:

– Слушай. Такому подонку, как ты, все равно, где торчать. С какой

стать ты являешься именно сюда и поганишь приличное кафе?

– Я просто зашел выпить. Что тут такого?

– У нас дома тебе дали бы выпить, а потом выбросили бы твой стакан.

– Где это – у вас дома? Похоже, что это очаровательное место.

Он сидел за соседним столиком, высокий, толстый молодой человек в очках. Он уже успел заказать пиво. Я решил не обращать на него внимания и попробовал писать. И, не обращая на него внимания, я написал две фразы.

– Я ведь просто заговорил с тобой.

Я не ответил и написал еще фразу. Когда рассказ идет и ты втянулся, его не так-то просто убить.

– Ты, видно, стал таким великим, что с тобой уж и поговорить нельзя.

Я закончил абзац и перечитал его. Пока все шло хорошо, и я написал первое предложение следующего абзаца.

– Ты никогда не думаешь о других, а ведь у них тоже могут быть свои переживания.

Всю жизнь мне приходилось выслушивать жалобы. Оказалось, что я могу не прекращать работу – он мешал мне не больше любого другого шума и, уж во всяком случае, меньше, чем Эзра, когда он учился играть на фаготе.

– Например, хочешь стать писателем, чувствуешь это всем своим существом, и все-таки ничего не получается.

Я продолжал писать, и ко мне снова как будто вернулась удача.

– Однажды это нахлынуло на тебя, как неудержимый поток, и с тех пор ты чувствуешь себя немым и глухим.

Уж лучше, чем глухим и болтливым, подумал я и продолжал писать. Он разошелся вовсю, и его немыслимые изречения так же гипнотизировали, как вопль доски, подвергающейся насилию на лесопилке.

– Нас понесло в Грецию.

Я вдруг снова различил слова. Довольно долго я воспринимал его речь как бессвязный шум. Я уже перешагнул рубеж и мог отложить работу до завтра.

– Прости, и сильно вас понесло?

– Не говори гадостей, – сказал он. – Неужели ты не хочешь, чтобы я рассказал тебе, что было дальше?

– Нет, – ответил я.

Я захлопнул блокнот и сунул его в карман.

– И тебе не интересно, чем все кончилось?

– Нет.

– И тебе не интересны жизнь и страдания других людей?
– Только не твои.
– Ты свинья.
– Да.
– Я думал, ты поможешь мне, Хем.
– Я бы с радостью пристрелил тебя.
– Правда?
– Но это запрещено законом.
– А я для тебя сделал бы все, что угодно.
– Правда?
– Конечно.
– Тогда держись подальше от этого кафе. Начни с этого. – Я встал, подошел официант, и я расплатился.
– Можно, я провожу тебя до лесопилки, Хем?
– Нет.
– Ну, тогда встретимся в другой раз.
– Только не здесь.
– Само собой разумеется, – сказал он. – Я же обещал.
– Что ты пишешь? – спросил я и сделал ошибку.
– Стараюсь написать что-нибудь получше. Так же, как и ты. Но это невероятно трудно.
– Если не получается, лучше не писать. Чего ты хнычешь? Поезжай домой. Найди работу. Хоть повесься, но только молчи. Ты никогда не сможешь писать.
– Зачем ты так говоришь?
– Ты когда-нибудь слышал, как ты говоришь?
– Но ведь мы же говорим о том, как писать.
– Тогда лучше не будем говорить.
– Ты просто жесток, – сказал он. – Все говорят, что ты жесток, бессердечен и самонадеян. Я всегда тебя защищал. Но больше не стану.
– Вот и хорошо.
– Как ты можешь быть таким жестоким с людьми?
– Не знаю, – сказал я. – Послушай, раз ты не можешь писать, почему бы тебе не заняться критикой?
– По-твоему, стоит?
– Это будет отлично, – сказал я ему. – Ты сможешь писать, когда тебе вздумается. И не придется мучиться, что тебя захватило и ты останешься нем и глух. Тебя будут читать и уважать.
– По-твоему, из меня может выйти хороший критик?

– Не знаю, хороший ли. Но критиком ты стать можешь. Всегда найдутся люди, которые помогут тебе, а ты будешь помогать своим.

– Кому это – своим?

– Тем, с кем ты водишься.

– Ах, этим. У них есть свои критики.

– Вовсе не обязательно критиковать книги, – сказал я. – Существуют ведь картины, пьесы, балет, кино...

– Это звучит очень заманчиво, Хем. От души благодарю тебя. Это так увлекательно. И потом, ведь это тоже творчество.

– Творческая сторона, вероятно, несколько переоценивается. В конце концов, бог сотворил мир всего за шесть дней, а на седьмой отдыхал.

– И ведь ничто не мешает мне одновременно заниматься творческой работой.

– Ничто на свете. Разве что требования, которые ты будешь предъявлять в своих критических статьях, окажутся слишком большими для тебя самого.

– Они и будут большими. Можешь не сомневаться.

– Я и не сомневаюсь.

Передо мной уже был критик, и я спросил, не хочет ли он выпить, и он согласился.

– Хем! – сказал он, и я понял, что теперь со мной говорит критик, так как в разговоре они ставят имя собеседника в начале предложения, а не в конце. – Должен сказать, я нахожу твои рассказы немного суховатыми.

– Очень жаль.

– Хем, они слишком худосочны, слишком оципаны.

– Это нехорошо.

– Хем, они слишком сухи, худосочны, слишком оципаны, слишком жилисты.

Я виновато нащупал в кармане кроличью лапку.

– Я постараюсь подкормить их немного.

– Но только смотри, чтобы они не разжирели.

– Хэл, – сказал я, пробуя говорить, как критики. – Я постараюсь не допустить этого.

– Рад, что наши мнения сходятся, – сказал он великодушно.

– Но ты не забудешь, что сюда нельзя приходить, когда я работаю?

– Разумеется, Хем. Теперь у меня будет свое кафе.

– Ты очень любезен.

– Стараюсь, – сказал он.

Было бы интересно и поучительно, если бы этот молодой человек стал

известным критиком, но он им не стал, хотя я некоторое время на это очень надеялся.

Я не думал, что он может прийти уже на следующий день, но рисковать не хотел и решил один день не ходить в «Клозери». Поэтому на следующее утро я проснулся пораньше, прокипятил соски и бутылочки, приготовил молочную смесь, разлил ее по бутылочкам, дал одну мистеру Бамби и уселся работать за обеденным столом, пока все, кроме него, Ф. Киса – нашего кота – и меня, еще спали. Оба они вели себя тихо, и их общество было приятно, и мне работалось как никогда. В те дни можно было обойтись без чего угодно – даже без кроличьей лапки, но было приятно чувствовать ее в кармане.

В кафе «Купол» с Пасхиным

Вечер был чудесный, я весь день напряженно работал и теперь вышел из нашей квартиры над лесопилкой, прошел через двор, мимо штабелей досок и бревен, захлопнул за собой калитку, перешел улицу, вошел в заднюю дверь булочной, где так вкусно пахло свежее испеченным хлебом, и вышел на бульвар Монпарнас. В булочной горел свет, смеркалось, и я пошел по темнеющей улице и задержался на открытой террасе ресторана «Тулузский негр», где наши салфетки в красную и белую клетку, продетые в деревянные кольца, лежали на специальном столике. Я прочитал лиловое меню, отпечатанное на мимеографе, и увидел, что plat du jour²² было cassoulet²³. И уже от одного этого мне захотелось есть.

Хозяин ресторана, господин Лавинь, спросил, как мне работалось, и я ответил, что очень хорошо. Он сказал, что видел, как я писал на террасе «Клозери-де-Лиля» рано утром, но не заговорил со мной, потому что я был поглощен работой.

– У вас был вид человека, заблудившегося в тропическом лесу, – сказал он.

– Когда я работаю, я как слепой кабан.

– Но разве вы были не в тропическом лесу, мосье?

– В зарослях, – ответил я.

Я пошел дальше по улице, заглядывая в витрины и радуясь весеннему вечеру и идущим навстречу людям. В трех самых больших кафе сидели люди, которых я знал в лицо, и другие, с которыми я был знаком. Но вечером, когда зажигались огни, вокруг всегда было множество гораздо более симпатичных и совсем незнакомых мне людей, которые торопливо шли мимо в поисках места, где можно было бы выпить вдвоем, поужинать вдвоем, а потом любить друг друга. Люди в больших кафе, возможно, занимаются тем же, а возможно, они сидят и пьют, разговаривают и любят только для того, чтобы их видели другие. Люди, которые мне нравились и с которыми я не был знаком, ходили в большие кафе, потому что там можно было затеряться, и на них никто не обращал внимания, и они могли побыть вдвоем. К тому же в те дни цены в больших кафе были дешевые, там подавали хорошее пиво и аперитивы стоили недорого – их цена была четко обозначена на блюдечках.

В тот вечер мне приходили в голову такие вот здравые, но не слишком оригинальные мысли, и я чувствовал себя чрезвычайно добродетельным,

потому что весь день хорошо и много работал, хоть и отчаянно хотелось поехать на скачки. Но в то время я не мог позволить себе посещать скачки, несмотря на то что при старании всегда можно было кое-что выиграть. Тогда еще не применялась ни проверка слюны, ни другие методы, с помощью которых выявляют искусственно возбужденных лошадей, и допинг применялся чрезвычайно широко. Но рассчитывать шансы лошадей, получивших стимулирующие средства, определять их состояние еще в загоне и ставить последние деньги, полагаясь на наблюдения, граничащие с интуицией, – все это едва ли может продвинуть молодого человека, имеющего жену и ребенка, в его занятиях литературой, которые требуют всех его сил и всего времени.

С точки зрения любых норм мы по-прежнему были очень бедны, и я все еще, чтобы немного сэкономить, говорил жене, что приглашен на обед, а потом два часа гулял в Люксембургском саду и, вернувшись, рассказывал ей, как великолепен был обед. Если не обедать, когда тебе двадцать пять и ты сложен, как тяжеловес, голод становится нестерпимым. Но голод обостряет восприятие, и я заметил, что многие люди, о которых я писал, имели волчий аппетит, любили хорошо поесть и в подавляющем большинстве всегда были не прочь выпить.

В ресторане «Тулузский негр» мы пили хороший кагор, заказывали четверть бутылки, полбутылки, а то и целый графин и обычно на одну треть разбавляли вино водой. Дома, над лесопилкой, у нас было корсиканское вино, отличавшееся большой крепостью и низкой ценой. Это было подлинно корсиканское вино, и даже если его разбавить водой наполовину, оно все же оставалось вином. В Париже в то время можно было неплохо жить на гроши, а периодически не обедая и совсем не покупая новой одежды, можно было иной раз и побаловать себя.

Из «Селекта» я сразу ушел, как только увидел там Гарольда Стирнса, который наверняка заговорил бы о лошадях, а от этих животных я только что с чистой совестью и легким сердцем решил отречься навсегда. Исполненный в тот вечер сознания своей праведности, я прошел мимо всего набора завсегдатаев «Ротонды» и, презрев порок и стадный инстинкт, перешел на другую сторону бульвара, где было кафе «Купол». В «Куполе» тоже было полно, но там сидели люди, которые хорошо поработали.

Там сидели натурщицы, которые хорошо поработали, и художники, которые работали до наступления темноты, и писатели, которые закончили дневной труд себе на горе или на радость, и пьяницы, и всякие любопытные личности – некоторых я знал, а другие были просто так, реквизитом.

Я прошел через зал и подсел к Пасхину, с которым были две сестры-натурщицы. Пасхин помахал мне, когда я еще стоял на тротуаре улицы Делабра, размышляя, зайти выпить или нет. Пасхин был очень хороший художник, и он был пьян – целеустремленно и привычно пьян, но при этом сохранял полную ясность мысли. Обе натурщицы были молодые и хорошенькие. Одна – смуглая брюнетка, маленькая, прекрасно сложенная, обманчиво-хрупкая и порочная. Другая – ребячливая и глупая, но очень красивая недолговечной детской красотой. Ее фигура уступала фигуре сестры – она была какая-то очень худая, как, впрочем, и все той весной.

– Добрая сестра и злая сестра, – сказал Пасхин. – У меня есть деньги. Что будешь пить?

– Une demi-blonde²⁴ – сказал я официанту.

– Выпей виски. У меня есть деньги.

– Я люблю пиво.

– Если бы ты действительно любил пиво, ты бы сидел у Липпа. Ты, наверно, работал.

– Да.

– Двигается?

– Как будто.

– Прекрасно. Я рад. И тебе пока еще ничего не надоело?

– Нет.

– Сколько тебе лет?

– Двадцать пять.

– Хочешь переспать с ней? – Он посмотрел на темноволосую сестру и улыбнулся. – Ей это будет полезно.

– Наверно, с нее на сегодня хватит и вас.

Она улыбнулась мне, приоткрыв губы.

– Он распутник, – сказала она, – но очень милый.

– Ты можешь пойти с ней в студию.

– Нельзя ли без свинства? – сказала светловолосая сестра.

– А тебя кто спрашивает? – отрезал Пасхин.

– Никто. Захотела и сказала.

– Будем чувствовать себя свободно, – сказал Пасхин. – Серьезный молодой писатель, и доброжелательный мудрый старый художник, и две молодые красивые девушки, у которых впереди вся жизнь.

Так мы и сидели, и девушки прихлебывали из своих рюмок, Пасхин выпил еще один коньяк с содовой, а я пил пиво, но никто не чувствовал себя свободно, кроме Пасхина. Брюнетка то и дело меняла позу, выставляя себя напоказ, поворачивалась в профиль так, чтобы свет подчеркивал

линии ее лица, и показывала мне обтянутую черным свитером грудь. Ее коротко подстриженные волосы были черные и гладкие, как у восточных женщин.

– Ты целый день позировала, – сказал ей Пасхин. – Тебе непременно надо демонстрировать этот свитер здесь, в кафе?

– Мне так нравится, – сказала она.

– Ты похожа на яванскую куклу, – сказал он.

– Не глазами, – сказала она. – Это не так просто.

– Ты похожа на бедную, совращенную роуреe25.

– Может быть, – сказала она. – Но зато живую. А о тебе этого не скажешь.

– Ну, это мы еще увидим.

– Прекрасно, – сказала она. – Я люблю доказательства.

– Тебе их было недостаточно сегодня?

– Ах, это, – сказала она и подставила лицо последним отблескам вечернего света. – Тебя просто взбудоражила работа. Он влюблен в свои холсты, – сказала она мне. – Вечно какая-нибудь грязь.

– Ты хочешь, чтобы я писал тебя, платил тебе, спал с тобой, чтобы у меня была ясная голова и чтобы я еще был влюблен в тебя, – сказал Пасхин. —Ах ты, бедная куколка.

– Я вам нравлюсь, мосье, не правда ли? – спросила она.

– Очень.

– Но вы слишком большой, – сказала она огорченно.

– В постели все одного роста.

– Неправда, – сказала ее сестра. – И мне надоел этот разговор.

– Послушай, – сказал Пасхин. – Если ты считаешь, что я влюблен в холсты, завтра я нарисую тебя акварелью.

– Когда мы будем ужинать? – спросила ее сестра. – И где?

– Вы с нами поужинаете? – спросила брюнетка.

– Нет. Я иду ужинать со своей legitime26. – Тогда жен называли так. А теперь говорят: моя reguliere27.

– Вы обязательно должны идти?

– И должен и хочу.

– Ну, тогда иди, – сказал Пасхин. – Да смотри не влюбись в машинку.

– В таком случае я стану писать карандашом.

– Завтра акварель, – объявил он. – Ну ладно, дети мои, я выпью еще рюмочку, и пойдем ужинать, куда вы захотите.

– К «Викингу», – сказала брюнетка.

– Именно, – поддержала ее сестра.

– Ладно, – согласился Пасхин. – Спокойной ночи, *jeune homme*[28](#).
Приятных снов.

– И вам того же.

– Они не дают мне спать, – сказал он. – Я никогда не сплю.

– Усните сегодня.

– После «Викинга»? – Он ухмыльнулся, сдвинув шляпу на затылок. Он был больше похож на гуляку с Бродвея девяностых годов, чем на замечательного художника. И позже, когда он повесился, я любил вспоминать его таким, каким он был в тот вечер в «Куполе». Говорят, что во всех нас заложены ростки того, что мы когда-нибудь сделаем в жизни, но мне всегда казалось, что у тех, кто умеет шутить, ростки эти прикрыты лучшей почвой и более щедро удобрены.

Эзра Паунд и его «Бель Эспри»

Эзра Паунд был всегда хорошим другом и всегда оказывал кому-то услуги. Его студия на Нотр-Дам-де-Шан, в которой он жил со своей женой Дороти, была так же бедна, как богата была студия Гертруды Стайн. Но в ней было много света, и стояла печка, и стены были увешаны картинами японских художников, знакомых Эзры. Все они у себя на родине были аристократами и носили длинные волосы. Когда они кланялись, их черные блестящие волосы падали вперед. Они произвели на меня большое впечатление, но картины их мне не нравились. Я их не понимал, хотя в них не было тайны, а когда я их понял, то остался к ним равнодушен. Очень жаль, но я тут ничего не мог поделать.

А вот картины Дороти мне очень нравились, и сама Дороти, на мой взгляд, была очень красива и прекрасно сложена. Еще мне нравилась голова Эзры работы Годье-Бржески и все фотографии творений этого скульптора, которые показывал мне Эзра и которые были в книге Эзры о нем. Кроме того, Эзре нравились картины Пикабиа, но я тогда считал их никудашными. И еще мне не нравились картины Уиндхема Льюиса, которые очень нравились Эзре. Ему нравились работы его друзей, что доказывало глубину его дружбы и самым губительным образом отражалось на его вкусе. Мы никогда не спорили об этих картинах, так как я помалкивал о том, что мне не нравилось. Я считал, что любовь к картинам или литературным произведениям друзей мало чем отличается от любви к семье и, следовательно, критиковать их невежливо. Порой приходится немало вытерпеть, прежде чем начнешь критически отзываться о своих близких или родных жены; с плохими же художниками дело обстоит проще, потому что они, в отличие от близких, не могут сделать ничего страшного и ранить в самое больное место. Плохих художников просто не надо смотреть. Но даже когда вы научитесь не смотреть на близких, и не слышать их, и не отвечать на их письма, все равно у них останется немало способов причинять зло. Эзра относился к людям с большей добротой и христианским милосердием, чем я. Его собственные произведения, если они ему удавались, были так хороши, а в своих заблуждениях он был так искренен, и так упоен своими ошибками, и так добр к людям, что я всегда считал его своего рода святым. Он был, правда, крайне раздражителен, но ведь многие святые, наверно, были такими же.

Эзра попросил, чтобы я научил его боксировать, и вот как-то вечером

во время одного из таких уроков у Эзры в студии я и познакомился с Уиндхемом Льюисом. Эзра начал боксировать совсем недавно, и мне было неприятно учить его в присутствии его знакомого, и я старался, чтобы он показал себя с лучшей стороны. Однако это не очень получалось, потому что Эзра привык к приемам фехтования, а мне надо было научить его работать левой и выдвигать вперед левую ногу, а потом уже ставить параллельно ей правую. Это были самые элементарные приемы. Но мне так и не удалось научить его хуку левой, а правильное положение правой было для него делом далекого будущего.

Уиндхем Льюис носил широкополую черную шляпу, в которых обычно изображают обитателей Латинского квартала, и был одет, как персонаж из «Богемы». Лицо его напоминало мне лягушку – обыкновенную лягушку, для которой Париж оказался слишком большой лужей. В то время мы считали, что любой писатель, любой художник может одеваться в то, что у него есть, и что для людей искусства не существует официальной формы; Льюис же был одет в мундир довоенного художника. На него было неловко смотреть, а он презрительно наблюдал, как я увертывался от левой Эзры или принимал удары на открытую правую перчатку.

Я хотел кончить, но Льюис настоял, чтобы мы продолжали, и мне было ясно, что, совершенно не разбираясь в происходящем, он хочет подождать в надежде увидеть избиение Эзры. Но ничего не произошло. Я не нападал, а только заставлял Эзру двигаться за мной с вытянутой левой рукой и изредка наносить удары правой, а затем сказал, что мы кончили, облился водой из кувшина, растерся полотенцем и натянул свитер.

Мы что-то выпили, и я слушал, как Эзра и Льюис разговаривали о своих лондонских и парнасских знакомых. Я внимательно следил за Льюисом незаметно, как следит за противником боксер, и, мне кажется, ни до него, ни после я не встречал более гнусного человека. В некоторых людях порок виден так же, как в призовой лошади – порода. В них есть достоинство твердого шанкра. На лице Льюиса не был написан порок – просто оно было гнусным.

По дороге домой я старался сообразить, что именно он мне напоминает, – оказалось, что самые разные вещи. – Они все относились к области медицины, за исключением «блевотины», но это слово не принято произносить в обществе. Я попытался разложить его лицо на части и описать каждую в отдельности, но такому способу поддались только глаза. Когда я впервые увидел их под полями черной шляпы, это были глаза неудачливого насильника.

– Сегодня я познакомился с человеком, гнуснее которого еще никогда не видел, – сказал я жене.

– Тэти, не рассказывай мне о нем. Пожалуйста, не рассказывай. Мы сейчас будем обедать.

Неделю спустя я встретил мисс Стайн и рассказал ей, что познакомился с Уиндхемом Льюисом, и спросил, знает ли она его.

– Я зову его «гусеница-листомерка», – сказала она. – Он приезжает из Лондона, выискивает хорошую картину, вынимает из кармана карандаш и принимается мерить ее с помощью карандаша и большого пальца. Нацеливается, измеряет и точно устанавливает, как она написана. Потом возвращается в Лондон и пишет такую же, и у него ничего не получается. Потому что главного в ней он не понял.

С тех пор я так и думаю о нем – как о гусенице-листомерке. Это было более мягкое и более христианское прозвище, чем то, которое я придумал ему сам. Позже я старался почувствовать к нему симпатию и сблизиться с ним – так же, как почти со всеми друзьями Эзры, после того как он мне их объяснил. Но таким он показался мне, когда я впервые увидел его в студии Эзры.

Эзра был самый отзывчивый из писателей, каких я знал, и, пожалуй; самый бескорыстный. Он помогал поэтам, художникам, скульпторам и прозаикам, в которых верил, и готов был помочь всякому, кто попал в беду, независимо от того, верил он в него или нет. Он беспокоился обо всех, а когда я с ним познакомился, он больше всего беспокоился о Т. С. Элиоте, который, как сообщил мне Эзра, вынужден был служить в каком-то лондонском банке и поэтому мог работать как поэт лишь крайне ограниченное время и в самые неподходящие часы.

И вот Эзра при содействии мисс Натали Барни, богатой американки и меценатки, учредил нечто под названием «Бель эспри»²⁹. В свое время мисс Барни дружила с Реми де Гурмоном, которого я уже не застал, и у нее был салон, где собирались по определенным дням, а в саду стоял маленький греческий храм. Салоны были у многих американок и француженок, располагавших достаточными средствами, и я очень скоро сообразил, что мне лучше держаться подальше от этих прекрасных мест, но, насколько мне известно, греческий храм в саду был только у одной мисс Барни.

Эзра показал мне брошюру о «Бель эспри», – мисс Барни разрешила ему поместить на обложке фотографию своего маленького греческого храма. Идея «Бель эспри» состояла в том, что мы все будем отдавать часть своего заработка в фонд мистера Элиота, чтобы выволить его из банка и

дать ему возможность заниматься поэзией, не думая о деньгах. Мне эта идея показалась неплохой: когда мы вызволим мистера Элиота из банка, сказал Эзра, мы будем делать то же и дальше, пока все не окажутся устроенными.

Я внес небольшую путаницу, называя Элиота «майором Элиотом», словно путая его с майором Дугласом, экономистом, идеями которого восторгался Эзра. Но Эзра понимал, что намерения у меня самые добрые и я предан «Бель эспри», хотя ему и было неприятно, когда я просил у моих друзей денег на вызволение майора Элиота из банка и кто-нибудь непременно спрашивал, что, собственно говоря, майор делает в банке, а если его уволили в запас, то почему он не получил пенсию или хотя бы единовременное пособие.

В таких случаях я говорил друзьям, что все это к делу не относится. Либо у вас есть «Бель эспри», либо нет. Если есть, то вы внесете деньги, чтобы вызволить майора из банка. Если же нет, то очень жаль. Неужели вы не постигли значения маленького греческого храма? Я так и знал. Очень жаль, приятель. Оставь свои деньги при себе. Нам они ни к чему.

Как член «Бель эспри» я активно участвовал в этой кампании, и в те дни моей заветной мечтой было увидеть, как майор энергичной походкой выходит из банка свободным человеком. Я не помню, каким образом «Бель эспри» в конце концов развалилось, но, кажется, это было как-то связано с выходом в свет поэмы «Опустошенная земля», за которую майор получил премию журнала «Дайел», а вскоре какая-то титулованная дама согласилась финансировать журнал Элиота «Критерий», и нам с Эзрой больше не нужно было о нем беспокоиться. Маленький греческий храм, кажется, все еще стоит в саду. Меня всегда огорчало, что нам так и не удалось вызволить майора из банка с помощью одного только «Бель эспри»; в мечтах я видел, как он приезжает, чтобы поселиться в маленьком греческом храме, и, может быть, Эзра взял бы меня с собой, и мы забежали бы туда увенчать его лаврами. Я знал, где можно наломать прекрасных лавроз, и поехал бы за ними на своем велосипеде. А еще я думал, что мы могли бы увенчивать его лаврами каждый раз, когда ему взгрустнется или когда Эзра кончит читать рукопись или гранки еще одной большой поэмы вроде «Опустошенной земли». С точки зрения морали все обернулось для меня наихудшим образом, так как деньги, предназначенные мною для вызволения майора из банка, я взял с собой в Энгиен и поставил на лошадей, которым дали стимулирующие средства. На двух скачках эти стимулированные лошади обошли нестимулированных и недостимулированных лошадей, за исключением одного заезда, когда наша лошадь была до того

перестимулирована, что перед стартом сбросила жокея и, вырвавшись, прошла полный круг стипль-чеза, совершая без жокея такие великолепные прыжки, какие удастся проделать только иногда во сне. Когда ее поймали и жокей сел в седло, она повела скачку и шла с честью, как говорят на французских ипподромах, но не взяла ничего.

Мне было бы намного приятнее, если бы эти проигранные деньги попали в «Бель эспри», которого уже не существовало. Но я утешился мыслью, что благодаря остальным удачным ставкам я мог бы внести в «Бель эспри» значительно больше, чем намеревался вначале.

Довольно странный конец

Знакомство с Гертрудой Стайн оборвалось довольно странным образом. Мы стали с ней большими друзьями, и я оказывал ей немало практических услуг – пристроил ее длинную книгу в журнал Форда, помог перепечатать рукопись и читал гранки, и мы стали даже более близкими друзьями, чем мне бы хотелось. Дружба между мужчиной и знаменитой женщиной бесперспективна, хотя она может быть очень приятной, пока не станет чем-то большим или меньшим; с честолюбивыми женщинами-писательницами она еще менее перспективна. Однажды, когда меня упрекнули за то, что я давно не появлялся на улице Флерюс, 27, а я оправдывался тем, что не знал, застану ли ее дома, мисс Стайн сказала:

– Но, Хемингуэй, моя студия в вашем распоряжении. Неужели вы этого не знаете? Я не шучу. Заходите в любое время, и горничная (она назвала ее по имени, но я забыл его) подаст вам, что нужно, а вы располагайтесь как дома и ждите меня.

Я не злоупотреблял этим разрешением, но иногда все же заходил к ней, и горничная предлагала мне выпить, а я смотрел на картины и, если мисс Стайн не появлялась, благодарил горничную, оставлял мисс Стайн записку и уходил. Мисс Стайн и ее приятельница готовились уехать на юг в автомобиле мисс Стайн, и в день отъезда мисс Стайн попросила меня зайти днем попрощаться. Она приглашала нас с Хэдли приехать к ней, но у нас с Хэдли были другие планы, и поехать мы хотели в другие места. Естественно, об этом не упоминалось: ведь можно выразить горячее желание приехать, а потом что-нибудь вдруг помешает. Я кое-что знал о методах уклонения от приглашений. Мне пришлось их изучить. Много позднее Пикассо рассказывал мне, что всегда принимал приглашения богачей, потому что это доставляло им большое удовольствие, но потом обязательно что-нибудь случалось и он не мог пойти. Но к мисс Стайн это не имело никакого отношения, он имел в виду других.

Был чудесный весенний день, и я пошел пешком от площади Обсерватории через Малый Люксембургский сад. Конские каштаны стояли в цвету, на усыпанных песком дорожках играли дети, а на скамейках сидели няньки, и я видел на деревьях диких голубей и слышал, как ворковали те, которых я увидеть не мог.

Горничная открыла дверь прежде, чем я позвонил, предложила мне войти и попросила подождать. Мисс Стайн спустится сию минуту. Время

обеда еще не наступило, но горничная налила в рюмку водки, протянула ее мне и весело подмигнула. Бесцветный спирт приятно обжег язык, и я не успел еще проглотить его, как вдруг услышал, что кто-то разговаривает с мисс Стайн так, как я не слышал, чтобы люди разговаривали друг с другом. Ни разу, никогда, нигде!

Потом послышался голос мисс Стайн, жалобный и умоляющий:

– Не надо, киска, не надо. Пожалуйста, не надо. Я на все согласна.

Я проглотил водку, поставил рюмку на стол и пошел к двери. Горничная погрозила мне пальцем и прошептала:

– Не уходите. Она сейчас спустится.

– Мне нужно идти, – сказал я и старался не слушать, пока выходил из комнаты, но разговор продолжался, и, чтобы не слышать, мне оставалось только уйти.

То, что говорилось, было отвратительно, а ответы еще отвратительнее.

Во дворе я сказал горничной:

– Пожалуйста, скажите, что я встретил вас во дворе. Что не мог ждать, потому что заболел мой друг. Передайте пожелания счастливого пути. Я напишу.

– C'est entendu³⁰ мосье. Какая досада, что вы не можете подождать.

– Да, – сказал я. – Какая досада.

Вот так это кончилось для меня – глупо кончилось, хотя я продолжал выполнять мелкие поручения, приходил, когда было необходимо, приводил людей, о которых просили, и дождался отставки вместе с большинством мужчин-друзей, когда настал новый период и новые друзья заняли наше место. Грустно было видеть новые никудышные картины рядом с настоящими, но теперь это не имело значения. Во всяком случае, для меня. Она рассорилась почти со всеми, кто был к ней привязан, кроме Хуана Гриса, а с ним она не могла поссориться, потому что он умер. Думаю, что это было бы ему безразлично: ему давно было все безразлично, и об этом говорят его картины.

В конце концов она рассорилась и со своими новыми друзьями, но нас это уже не интересовало. Она стала похожа на римского императора, что вовсе не плохо, если тебе нравятся женщины, похожие на римских императоров. Но Пикассо написал ее, а я запомнил ее такой, какой она была в те дни, когда походила на крестьянку из Фриули.

Впоследствии все или почти все помирились с ней, чтобы не казаться обидчивыми или слишком уж праведными. И я тоже. Но я так никогда и не смог вновь подружиться с ней по-настоящему – ни сердцем, ни умом. Хуже всего, когда ты умом понимаешь, что больше не можешь дружить с

человеком. Но тут все было даже еще сложнее.

Человек, отмеченный печатью смерти

В тот вечер, когда я познакомился у Эзры с поэтом Эрнестом Уолшем, с ним были две девушки в длинных норковых манто, а перед домом стоял большой сверкающий лимузин отеля «Кларидж» с шофером в ливрее. Девушки были блондинки, и они приехали из Америки на одном пароходе с Уолшем. Пароход прибыл накануне, и Уолш привел их к Эзре.

Эрнест Уолш был типичный ирландец, черноволосый и нервный, с поэтической внешностью, отмеченный печатью смерти, как герой трагической кинокартины. Он разговаривал с Эзрой, а я – с девушками, которые спросили меня, читал ли я стихи мистера Уолша. Я их не читал, и одна из девушек открыла журнал «Поэзия» в зеленой обложке, издаваемый Гарриэт Монро, и показала мне стихи Уолша.

– Ему платят тысячу двести долларов за штуку, – сказала она.

– За каждое стихотворение, – сказала другая. Я вспомнил, что этот самый журнал в лучшем случае платил мне по двенадцать долларов за страницу.

– Должно быть, он действительно великий поэт, – сказал я.

– Ему платят больше, чем Эдди Гесту, – сообщила мне первая девушка. – Ему платят даже больше, чем этому, как там его... Ну, вы знаете.

– Киплингу, – сказала ее подруга.

– Ему платят больше всех, – сказала первая девушка.

– Вы надолго в Париж? – спросил я.

– Как вам сказать. Не очень. Мы здесь с друзьями.

– Мы приехали на этом самом пароходе. Ну, вы знаете. Но на нем совершенно никого не было. Кроме мистера Уолша, разумеется.

– Он, кажется, играет в карты? – спросил я.

Она разочарованно, но понимающе посмотрела на меня.

– Нет. Ему не надо играть. Ему незачем играть, раз он умеет писать такие стихи.

– Каким пароходом вы собираетесь вернуться?

– Трудно сказать. Это зависит от пароходного расписания. И от многого другого. Вы тоже собираетесь уезжать?

– Нет. Мне и здесь неплохо.

– Это довольно бедный квартал, правда?

– Да. Но здесь хорошо. Я работаю в кафе и хожу на ипподром.

– И вы ходите на ипподром в этом костюме?

– Нет. В нем я хожу в кафе.

– Очень интересно, – сказала одна из девушек. – Мне бы хотелось познакомиться с этой парижской жизнью в кафе. А тебе, милочка?

– Мне тоже, – сказала вторая девушка.

Я записал их фамилии в свою записную книжку и обещал позвонить им в «Кларидж». Девушки были милые, и я попрощался с ними, и с Уолшем, и с Эзрой. Уолш все еще что-то с жаром говорил Эзре.

– Так не забудете? – сказала та, что была повыше.

– Как можно! – сказал я и снова пожал руки и той и другой.

Вскоре я услышал от Эзры, что некие поклонницы поэзии и молодых поэтов, отмеченных печатью смерти, вызволили Уолша из отеля «Кларидж», заплатив за него, а затем – что он получил финансовую помощь из другого источника и собирается стать соредактором какого-то нового ежеквартального журнала.

В то время американский литературный журнал «Дайел», издававшийся Скофилдом Тэйером, присуждал своим авторам ежегодную премию, кажется, в тысячу долларов за высокое литературное мастерство. Тогда для любого писателя-профессионала это было значительной суммой, не говоря о престиже, и ее уже получило несколько людей, и, разумеется, все заслуженно. А в то время в Европе можно было неплохо прожить вдвоем на пять долларов в день и даже путешествовать.

Журнал, одним из редакторов которого должен был стать Уолш, якобы намеревался установить весьма значительную премию для автора, чье произведение будет признано лучшим в первых четырех номерах.

Трудно сказать, были ли это сплетни, или слухи, или же кто-то сказал об этом кому-то по секрету. Будем надеяться и верить, что за всем этим не скрылось злого умысла. В любом случае соредактор Уолша была и остается вне всяких подозрений.

Вскоре после того, как до меня дошли слухи об этой премии, Уолш пригласил меня пообедать с ним в самом лучшем и дорогом ресторане в районе бульвара Сен-Мишель, и после устриц – дорогих плоских *marennnes* с коричневатым отливом вместо привычных выпуклых и дешевых *portugaises*, – а также после бутылки «пуйи фюизе» он искусно перевел разговор на эту тему. Он словно обрабатывал меня, как обрабатывал этих девиц из шулерской шайки на пароходе, – разумеется, если они были из шулерской шайки и если он их обрабатывал, – и когда он спросил, не хочу ли я съесть еще дюжину плоских устриц, как он их назвал, я с удовольствием согласился. При мне он не следил за тем, чтобы печать смерти лежала на его лице, и я почувствовал облегчение. Он знал, что мне

было известно, что у него чахотка, и не воображаемая, а самая настоящая, от которой тогда умирали, и в какой она стадии; поэтому он обошелся без припадка кашля здесь, за столиком, и я был благодарен ему за это. Я подумал, не глотает ли он эти плоские устрицы по той же причине, по какой проститутки Канзас-Сити, отмеченные печатью смерти и туберкулезом, глотают всякую гадость, но не спросил его об этом. Я принялся за вторую дюжину плоских устриц; брал их с размельченного льда на серебряном блюде, а потом смотрел на то, как их невероятно нежные коричневатые края вздрагивали и съеживались, когда я выжимал на них лимон, а потом отделял от раковины и долго, тщательно жевал.

– Эзра – великий, великий поэт, – сказал Уолш, глядя на меня своими темными глазами поэта.

– Да, – сказал я. – И прекрасный человек.

– Благородный, – сказал Уолш. – Поистине благородный.

Некоторое время мы ели и пили молча, отдавая дань благородству Эзры.

Я вдруг почувствовал, что соскучился по Эзре, и пожалел, что его здесь нет. Ему, как и мне, *marginnes* были не по карману.

– Джойс великий писатель, – сказал Уолш. – Великий. Великий.

– Да, великий, – сказал я. – И хороший товарищ.

Мы подружились в тот чудесный период его жизни, когда он кончил «Улисса» и еще не начал работать над тем, что долгое время называлось «Работа в развитии». Я думал о Джойсе и припомнил очень многое.

– Как жаль, что зрение у него слабеет, – сказал Уолш.

– Ему тоже жаль, – сказал я.

– Это трагедия нашего времени, – сообщил Уолш.

– У всех что-нибудь да не так, – сказал я, пытаюсь оживить застольную беседу.

– Только не у вас, – обрушил он на меня все свое обаяние, и на лице его появилась печать смерти.

– Вы хотите сказать, что я не отмечен печатью смерти? – спросил я, не удержавшись.

– Нет. Вы отмечены печатью Жизни. – Последнее слово он произнес с большой буквы.

– Дайте мне только время, – сказал я.

Ему захотелось хорошего бифштекса с кровью, и я заказал два турнедо под беарнским соусом. Я подумал, что масло будет ему полезно.

– Может быть, красного вина? – спросил он.

Подошел [sommelier31](#), и я заказал «шатонеф дю пап». «Потом я погуляю по набережным, и хмель у меня выветрится. А он пусть проспится или еще что-нибудь придумает. Я найду, куда себя деть», – подумал я.

Дело прояснилось, когда мы доели бифштексы с жареным картофелем и на две трети опустошили бутылку «шатонеф дю пап», которое днем не пьют.

– К чему ходить вокруг да около, – сказал он. – Вы знаете, что нашу премию получите вы?

– Разве? – спросил я. – За что?

– Ее получите вы, – сказал он и начал говорить – о том, что я написал, а я перестал слушать.

Когда меня хвалили в глаза, мне становилось тошно. Я смотрел на него, на его лицо с печатью смерти и думал: «Хочешь одурачить меня своей чахоткой, шулер. Я видел батальон на пыльной дороге, и каждый третий был обречен на смерть или на то, что хуже смерти, и не было на их лицах никаких печатей, а только пыль. Слышишь, ты, со своей печатью, ты, шулер, наживающийся на своей смерти. А сейчас ты хочешь меня одурачить. Не одурачивай, да не одурачен будешь». Только смерть его не дурачила. Она действительно была близка.

– Мне кажется, я не заслужил ее, Эрнест, – сказал я, с удовольствием называя его своим именем, которое я ненавидел. – Кроме того, Эрнест, это было бы неэтично.

– Не правда ли, странно, что мы с вами тезки?

– Да, Эрнест, – сказал я. – Мы оба должны быть достойны этого имени. Вам ясно, что я имею в виду, не так ли, Эрнест?[32](#)

– Да, Эрнест, – сказал он и одарил меня своим грустным ирландским обаянием.

И после я был очень мил с ним и с его журналом, а когда у него началось кровохарканье и он уехал из Парижа, попросив меня проследить за набором журнала в типографии, где не умели читать по-английски, я выполнил его просьбу. Один раз я присутствовал при его кровохарканье; тут не было никакой фальши, и я понял, что он действительно скоро умрет, и в то трудное в моей жизни время мне доставляло удовольствие быть с ним особенно милым, как доставляло удовольствие называть его Эрнестом. Кроме того, я восхищался его соредактором и уважал ее. Она не обещала мне никаких премий. Она хотела только создать хороший журнал и как следует платить своим авторам.

Однажды, много позже, я встретил Джойса, который шел один по бульвару Сен-Жермен после утреннего спектакля. Он любил слушать

актеров, хотя и не видел их. Он пригласил меня выпить, и мы зашли в «Де-Маго» и заказали сухого хереса, хотя те, кто пишет о Джойсе, утверждают, что он не пил ничего, кроме белых швейцарских вин.

– Что слышно об Уолше? – спросил Джойс.

– Как был сволочью, так и остался, – сказал я.

– Он обещал вам эту премию? – спросил Джойс.

– Да.

– Я так и думал, – сказал Джойс.

– Он обещал ее и вам?

– Да, – сказал Джойс, а потом он спросил: – Как, по-вашему, он обещал ее Паунду?

– Не знаю.

– Лучше его не спрашивать, – сказал Джойс.

Мы больше не говорили об этом. Я рассказал Джойсу, как впервые увидел Уолша в студии Эзры с двумя девицами в длинных меховых мантиях, и эта история доставила ему большое удовольствие.

Ивен Шипмен в кафе «Ли́ла»

С тех пор как я обнаружил библиотеку Сильвии Бич, я прочитал всего Тургенева, все вещи Гоголя, переведенные на английский, Толстого в переводе Констанс Гарнетт и английские издания Чехова. В Торонто, еще до нашей поездки в Париж, мне говорили, что Кэтрин Мэнсфилд пишет хорошие рассказы, даже очень хорошие рассказы, но читать ее после Чехова – все равно что слушать старательно придуманные истории еще молодой старой девы после рассказа умного знающего врача, к тому же хорошего и простого писателя. Мэнсфилд была как разбавленное пиво. Тогда уж лучше пить воду. Но у Чехова от воды была только прозрачность. Кое-какие его рассказы отдавали репортерством. Но некоторые были изумительны.

У Достоевского есть вещи, которым веришь и которым не веришь, но есть и такие правдивые, что, читая их, чувствуешь, как меняешься сам, – слабость и безумие, порок и святость, одержимость азарта становились реальностью, как становились реальностью пейзажи и дороги Тургенева и передвижение войск, театр военных действий, офицеры, солдаты и сражения у Толстого. По сравнению с Толстым описание нашей Гражданской войны у Стивена Крейна казалось блестящей выдумкой больного мальчика, который никогда не видел войны, а лишь читал рассказы о битвах и подвигах и разглядывал фотографии Брэди, как я в свое время в доме деда. Пока я не прочитал «Chartreuse de Parme»³³ Стендаля, я ни у кого, кроме Толстого, не встречал такого изображения войны; к тому же чудесное изображение Ватерлоо у Стендаля выглядит чужеродным в этом довольно скучном романе. Открыть весь этот новый мир книг, имея время для чтения в таком городе, как Париж, где можно прекрасно жить и работать, как бы беден ты ни был, все равно что найти бесценное сокровище. Это сокровище можно брать с собой в путешествие, и в городах Швейцарии и Италии, куда мы ездили, пока не открыли Шрунс в Австрии, в одной из высокогорных долин Форарльберга, тоже всегда были книги, так что ты жил в найденном тобой новом мире: днем снег, леса и ледники с их зимними загадками и твое пристанище в деревенской гостинице «Таубе» высоко в горах, а ночью – другой чудесный мир, который дарили тебе русские писатели. Сначала русские, а потом и все остальные. Но долгое время только русские.

Помню, как однажды, когда мы возвращались с бульвара Араго после

тенниса и Эзра предложил зайти к нему выпить, я спросил, какого он мнения о Достоевском.

– Говоря по правде, Хем, – сказал Эзра, – я не читал ни одного из этих русских.

Это был честный ответ, да и вообще Эзра в разговоре всегда был честен со мной, но мне стало больно, потому что это был человек, которого я любил и на чье мнение как критика полагался тогда почти безусловно, человек, веривший в *mot juste* – единственное верное слово, – человек, научивший меня не доверять прилагательным, как позднее мне предстояло научиться не доверять некоторым людям в некоторых ситуациях; и мне хотелось узнать его мнение о человеке, который почти никогда не находил *mot juste* и все же порой умел делать своих персонажей такими живыми, какими они не были ни у кого.

– Держитесь французов, – сказал Эзра. – У них вы можете многому научиться.

– Знаю, – сказал я. – Я могу многому научиться у кого угодно.

Позже, выйдя от Эзры, я направился к лесопилке, глядя вперед, туда, где между высокими домами в конце улицы виднелись голые деревья бульвара Сен-Мишель и фасад танцевального зала Бюлье, затем открыл калитку и прошел мимо свежераспиленных досок и положил ракетку в прессе возле лестницы, которая вела на верхний этаж. Я покричал, но дома никого не было.

– Мадам ушла, и *bonne*³⁴ с ребенком тоже, – сказала мне жена владельца лесопилки. У нее был тяжелый характер, грузная фигура и медно-рыжие волосы. Я поблагодарил ее. – Вас спрашивал какой-то молодой человек, – сказала она, назвав его «*jeune homme*» вместо «мосье». – Он сказал, что будет в «Ли́ла».

– Большое спасибо, – сказал я. – Когда мадам вернется, пожалуйста, передайте ей, что я в «Ли́ла».

– Она ушла с какими-то знакомыми, – сказала хозяйка и, запахнув лиловый халат, зашагала на высоких каблуках в свои владения, оставив дверь открытой.

Я пошел по улице между высокими белыми домами в грязных подтеках и пятнах, у залитого солнцем перекрестка свернул направо и вошел в полумрак «Ли́ла».

Знакомых там не оказалось, я вышел на террасу и увидел Ивена Шипмена, ждавшего меня. Он был хорошим поэтом, а кроме того, понимал и любил лошадей, литературу и живопись. Он встал, и я увидел высокого, бледного и худого человека, несвежую белую рубашку с потрепанным

воротничком, тщательно завязанный галстук, поношенный и измятый костюм, пальцы чернее волос, грязные ногти и радостную, робкую улыбку – улыбаясь, он не разжимал рта, чтобы не показывать испорченные зубы.

– Рад вас видеть, Хем, – сказал он.

– Как поживаете, Ивен? – спросил я.

– Так себе, – сказал он. – Правда, кажется, я добил «Мазепу». А как у вас, все хорошо?

– Как будто, – сказал я. – Я играл в теннис с Эзрой, когда вы заходили.

– У Эзры все хорошо?

– Очень.

– Я так рад. Знаете, Хем, я, кажется, не понравился жене вашего хозяина. Она не разрешила мне подождать вас наверху.

– Я поговорю с ней, – сказал я.

– Не беспокойтесь. Я всегда могу подождать здесь. На солнце тут очень приятно, правда?

– Сейчас осень, – сказал я. – По-моему, вы одеваетесь слишком легко.

– Прохладно только по вечерам, – сказал Ивен. – Я надену пальто.

– Вы знаете, где оно?

– Нет. Но оно где-нибудь в надежном месте.

– Откуда вы знаете?

– А я оставил в нем поэму. – Он весело рассмеялся, стараясь не разжимать губ. – Прошу вас, выпейте со мной виски, Хем.

– Хорошо.

– Жан! – Ивен встал и подозвал официанта. – Два виски, пожалуйста.

Жан принес бутылку, рюмки, сифон и два десятифранковых блюдца. Он не пользовался мензуркой и лил виски, пока рюмки не наполнились более чем на три четверти. Жан любил Ивена, потому что в свободные дни Жана Ивен часто работал у него в саду в Монруже за Орлеанской заставой.

– Не нужно увлекаться, – сказал Ивен высокому пожилому официанту.

– Но ведь это два виски, верно? – сказал официант.

Мы добавили воды, и Ивен сказал:

– Первый глоток самый важный, Хем. Если пить правильно, нам хватит надолго.

– Вы хоть немного думаете о себе? – спросил я.

– Да, конечно, Хем. Давайте говорить о чем-нибудь другом, хорошо?

На террасе, кроме нас, никого не было. Виски согрело нас обоих, хотя я был одет более по-осеннему, чем Ивен, так как вместо нижней рубашки на мне был свитер, потом рубашка, а поверх нее – пуловер из синей шерсти, какие носят французские моряки.

– Я все думаю о Достоевском, – сказал я. – Как может человек писать так плохо, так невероятно плохо, и так сильно на тебя воздействовать?

– Едва ли дело в переводе, – сказал Ивен. – Толстой у Констанс Гарнетт пишет хорошо.

– Я знаю. Я еще не забыл, сколько раз я не мог дочитать «Войну и мир» до конца, пока мне не попался перевод Констанс Гарнетт.

– Говорят, его можно сделать еще лучше, – сказал Ивен. – Я тоже так думаю, хоть и не знаю русского. Но переводы мы с вами знаем. И все равно, это чертовски сильный роман, по-моему, величайший на свете, и его можно перечитывать без конца.

– Да, – сказал я. – Но Достоевского перечитывать нельзя. Когда в Шрунсе мы остались без книг, у меня с собой было «Преступление и наказание», и все-таки я не смог его перечитать, хотя читать было нечего. Я читал австрийские газеты и занимался немецким, пока мы не обнаружили какой-то роман Троллопа в издании Таухница.

– Бог да благословит Таухница, – сказал Ивен.

Виски уже не обжигало, и теперь, когда мы добавили еще воды, оно казалось просто слишком крепким.

– Достоевский был сукиным сыном, Хем, – продолжал Ивен. – И лучше всего у него получились сукины дети и святые. Святые у него великолепны. Очень плохо, что мы не можем его перечитывать.

– Я собираюсь еще раз взяться за «Братьев Карамазовых». Возможно, дело не в нем, а во мне.

– Сначала все будет хорошо. И довольно долго. А потом начинаешь злиться, хоть это и великая книга.

– Что ж, нам повезло, когда мы читали ее в первый раз, и, может быть, появится более удачный перевод.

– Но не поддавайтесь соблазну, Хем.

– Не поддамся. Я постараюсь, чтобы это получилось само собой, тогда чем больше читаешь, тем лучше.

– Раз так, да поможет нам виски Жана, – сказал Ивен.

– У него из-за этого еще будут неприятности, – сказал я.

– Они уже начались, – сказал Ивен.

– Как так?

– Кафе переходит в другие руки, – сказал Ивен. – Новые владельцы хотят иметь более богатую клиентуру и собираются устроить здесь американский бар. На официантов наденут белые куртки и велют сбрить усы.

– Андре и Жану? Не может быть.

– Не может, но будет.

– Жан носит усы всю жизнь. У него драгунские усы. Он служил в кавалерийском полку.

– И все-таки он их сбреет.

Я допил виски.

– Еще виски, мосье? – спросил Жан. – Виски, мосье Шилмен?

Густые висячие усы были неотъемлемой частью его худого доброго лица, а из-под прилизанных волос на макушке поблескивала лысина.

– Не надо, Жан, – сказал я. – Не рискуйте.

– Риска никакого нет, – сказал он нам вполголоса, – слишком большая неразбериха. Entendu³⁵, мосье, – сказал он громко, прошел в кафе и вернулся с бутылкой виски, двумя стаканами, двумя десятифранковыми блюдцами и бутылкой сельтерской.

– Не надо, Жан, – сказал я.

Он поставил стакаки на блюдца, наполнил их почти до краев и унес бутылку с остатками виски в кафе. Мы с Ивеном подлили в стаканы немного сельтерской.

– Хорошо, что Достоевский не был знаком с Жаном, – сказал Ивен. – Он мог бы спиться.

– А мы что будем делать?

– Пить, – сказал Ивен. – Это протест. Активный протест.

В понедельник, когда я утром пришел в «Ли́ла» работать, Андре принес мне bovril – чашку говяжьего бульона из кубиков. Он был кряжистый и белокурый, верхняя губа его, где прежде была щеточка усов, стала гладкой, как у священника. На нем была белая куртка американского бармена.

– А где Жан?

– Он работает завтра.

– Как он?

– Ему труднее примириться с этим. Всю войну он прослужил в драгунском полку. У него Военный крест и Военная медаль.

– Я не знал, что он был так тяжело ранен.

– Это не то. Он действительно был ранен, но Военная медаль у него другая. За храбрость.

– Скажите ему, что я спрашивал о нем.

– Непременно, – сказал Андре. – Надеюсь, он все же примирится с этим.

– Пожалуйста, передайте ему привет и от мистера Шипмена.

– Мистер Шипмен у него, – сказал Андре. – Они вместе работают у

него в саду.

Носитель порока

Последнее, что сказал мне Эзра перед тем, как покинуть улицу Нотр-Дам-де-Шан и отправиться в Рапалло, было:

– Хем, держите эту баночку с опиумом у себя и не отдавайте ее Даннингу, пока она ему действительно не понадобится.

Это была большая банка из-под кольдкрема, и, отвернув крышку, я увидел нечто темное и липкое, и пахло оно, как пахнет очень плохо очищенный опиум. По словам Эзры, он купил его у индейского вождя на авеню Оперы близ Итальянского бульвара и заплатил дорого. Я решил, что этот опиум был приобретен в старом баре «Дыра в стене», пристанище дезертиров и торговцев наркотиками во время первой мировой войны и после нее. Бар «Дыра в стене», чей красный фасад выходил на Итальянскую улицу, был очень тесным заведением, немногим шире обыкновенного коридора. Одно время там был потайной выход прямо в парижскую клоаку, по которой, говорят, можно было добраться до катакомб. Даннинг – это Ральф Чивер Даннинг, поэт, куривший опиум и забывавший про еду. Когда он курил слишком много, он пил только молоко; а еще он писал терцины, за что его и полюбил Эзра, находивший, впрочем, высокие достоинства в его поэзии. Он жил с Эзрой на одном дворе, и за несколько недель до своего отъезда из Парижа Эзра послал за мной, потому что Даннинг умирал.

«Даннинг умирает, – писал в записке Эзра. – Пожалуйста, приходите немедленно».

Даннинг лежал в постели, худой, как скелет, и в конце концов, несомненно, мог бы умереть от истощения, однако сейчас мне удалось убедить Эзру, что очень немногие умирающие говорят на смертном одре так красиво и гладко, и тем более я не слышал, чтобы кто-нибудь умирал, разговаривая терцинами, – даже самому Данте это вряд ли удалось бы. Эзра сказал, что Даннинг вовсе не говорит терцинами, а я сказал, что, возможно, мне чудятся терцины, потому что, когда за мной пришли, я спал. В конце концов, после того как мы провели ночь у постели Даннинга, ожидавшего смерти, им занялся врач, и его увезли в частную клинику, чтобы лечить от отравления опиумом. Эзра гарантировал оплату счетов и убедил уж не знаю каких любителей поэзии помочь Даннингу. Мне же было поручено только передать ему банку с опиумом в случае крайней необходимости. Всякое поручение Эзры было для меня священным, и я мог только надеяться, что

окажусь достойным его доверия и сумею сообразить, когда именно наступит крайняя необходимость. Она наступила в одно прекрасное воскресное утро: на лесопилку явилась консьержка Эзры и прокричала в открытое окно, у которого я изучал программу скачек: «Monsieur Dunning est monte sur le toit et refuse categoriquement de descendre»³⁶.

То, что Даннинг взобрался на крышу студии и категорически отказывается спуститься, показалось мне поистине выражением крайней необходимости, и, отыскав банку с опиумом, я зашагал по улице рядом с консьержкой, маленькой суетливой женщиной, которую все это привело в сильное волнение.

– У мосье есть то, что нужно? – спросила она меня.

– О да, – сказал я. – Все будет хорошо.

– Мосье Паунд всегда обо всем позаботится, – сказала она. – Он – сама доброта.

– Совершенно верно, – сказал я. – Я вспоминаю о нем каждый день.

– Будем надеяться, что мосье Даннинг проявит благоразумие.

– У меня есть как раз то, что для этого требуется, – заверил я ее.

Когда мы вошли во двор, консьержка сказала:

– Он уже спустился.

– Значит, он догадался, что я иду, – сказал я.

Я поднялся по наружной лестнице, которая вела в комнату Даннинга, и постучал. Он открыл дверь. Из-за отчаянной худобы он казался очень высоким.

– Эзра просил меня передать вам вот это, – сказал я и протянул ему банку. – Он сказал, что вы знаете, что это такое.

Даннинг взял банку и поглядел на нее. Потом запустил ею в меня. Она попала мне не то в грудь, не то в плечо и покатилась по ступенькам.

– Сукин сын, – – сказал он. – Мразь.

– Эзра сказал, что вам это может понадобиться, – возразил я.

В ответ он швырнул в меня бутылкой из-под молока.

– Вы уверены, что вам это действительно не нужно? – спросил я.

Он швырнул еще одну бутылку. Я повернулся, чтобы уйти, и он попал мне в спину еще одной бутылкой. Затем захлопнул дверь.

Я подобрал банку, которая только слегка треснула, и сунул ее в карман.

– По-видимому, подарок мосье Паунда ему не нужен, – сказал я консьержке.

– Может быть, он теперь успокоится, – сказала она.

– Может быть, у него есть это лекарство, – сказал я.

– Бедный мосье Даннинг, – сказала она.

Любители поэзии, которых объединил Эзра, в конце концов пришли на помощь Даннингу. А мы с консьержкой так ничего и не смести сделать. Треснувшую банку, в которой якобы был опиум, я завернул в вощеную бумагу и аккуратно спрятал в старый сапог для верховой езды.

Когда несколько лет спустя мы с Ивеном Шипменом перевозили мои вещи из этой квартиры, банки в сапоге не оказалось. Не знаю, почему Даннинг швырял в меня бутылками из-под молока; быть может, он вспомнил мой скептицизм в ту ночь, когда умирал в первый раз, а возможно, это было просто безотчетное отвращение к моей личности. Но я хорошо помню, в какой восторг привела Ивена Шипмена фраза: «*Monsieur Dunning est monte sur le toit et refuse categoriquement de descendre*». Он усмотрел в ней что-то символическое. Не берусь судить. Быть может, Даннинг принял меня за носителя порока или агента полиции. Я знаю только, что Эзра хотел оказать Даннингу добрую услугу, как оказывают многим другим людям, а мне всегда хотелось верить, что Даннинг действительно был таким хорошим поэтом, каким его считал Эзра. Но для поэта он слишком метко швырял бутылки из-под молока. Впрочем, и Эзра, который был великим поэтом, прекрасно играл в теннис. Ивен Шипмен, который был очень хорошим поэтом, искренне равнодушным к тому, будут ли напечатаны его стихи, полагал, что разгадку этой тайны искать не следует.

– Побольше бы нам подлинных тайн, Хем, – сказал он мне как-то. – Совершенно лишенный честолюбия писатель и по-настоящему хорошие неопубликованные стихи – вот чего нам сейчас не хватает больше всего. Есть еще, правда, такая проблема, как забота о хлебе насущном.

Скотт Фицджеральд

Его талант был таким же естественным, как узор из пыльцы на крыльях бабочки. Одно время он понимал это не больше, чем бабочка, и не заметил, как узор стерся и поблек. Позднее он понял, что крылья его повреждены, и понял, как они устроены, и научился думать, но летать больше не мог, потому что любовь к полетам исчезла, а в памяти осталось только, как легко ему леталось когда-то...

Когда я познакомился со Скоттом Фицджеральдом, произошло нечто очень странное. С ним много бывало странного, но именно этот случай врезался мне в память. Скотт пришел в бар «Динго» на улице Делаамбр, где я сидел с какими-то весьма малодостойными личностями, представился сам и представил нам своего спутника – высокого, симпатичного человека, знаменитого бейсболиста Данка Чаплина. Я не следил за принстонским бейсболом и никогда не слышал о Данке Чаплине, но он держался очень мило, спокойно и приветливо и понравился мне гораздо больше, чем Скотт.

В то время Скотт производил впечатление юнца скорее смазливого, чем красивого. Очень светлые волнистые волосы, высокий лоб, горящие, но добрые глаза и нежный ирландский рот с длинными губами – рот красавицы, будь он женским. У него был точеный подбородок, красивые уши и почти безупречно прямой нос. Лицо с таким носом едва ли можно было назвать смазливым, если бы не цвет лица, очень светлые волосы и форма рта. Этот рот рождал смутное беспокойство, пока вы не узнавали Скотта поближе, а тогда беспокойство усиливалось еще больше.

Мне уже давно хотелось познакомиться с ним. Весь этот день я напряженно работал, и мне показалось настоящим чудом, что в кафе появились Скотт Фицджеральд и великий Данк Чаплин, о котором я никогда не слыхал, но который теперь стал моим другом. Скотт говорил не умолкая, и так как его слова сильно меня смущали – он говорил только о моих произведениях и называл их гениальными, – я вместо того, чтобы слушать, внимательно его разглядывал. По нашей тогдашней этике похвала в глаза считалась прямым оскорблением. Скотт заказал шампанское, и он, Данк Чаплин и я распили его с кем-то из малодостойных личностей. Данк и я, вероятно, слушали речь Скотта не слишком внимательно – это была

самая настоящая речь, – а я продолжал изучать Скотта. Он был худощав и не производил впечатления здоровяка, лицо его казалось слегка одутловатым. Костюм от братьев Брукс сидел на нем хорошо, он был в белой рубашке с пристежным воротничком и в гвардейском галстук. Я подумал, не сказать ли ему про галстук – ведь в Париже жили англичане, и они могли зайти в «Динго», двое даже сейчас сидели здесь, – но потом подумал: «Ну его к черту, этот галстук». Позднее выяснилось, что он купил галстук в Риме.

Глядя на него, я почти ничего не открыл для себя, кроме того, что у него были красивые, энергичные руки, не слишком маленькие, а когда он сел на табурет у стойки, я заметил, что у него очень короткие ноги. Будь у него нормальные ноги, он был бы дюйма на два выше. Мы допили первую бутылку шампанского, принялись за вторую, и красноречие Скотта начало иссякать.

Мы же с Данком почувствовали себя даже лучше, чем до шампанского, и было очень приятно, что речь подходит к концу. До тех пор я полагал, что сокровенная тайна о том, какой я гениальный писатель, известна только мне, моей жене и нашим близким знакомым. Я был рад, что Скотт пришел к тому же приятному выводу относительно моей потенциальной гениальности, но я был рад и тому, что красноречие его стало иссякать. Однако за речью последовали вопросы. Речь можно было не слушать и разглядывать его, а от вопросов спасения не было. Скотт, как я вскоре убедился, полагал, что романист может узнать все, что ему нужно, от своих друзей и знакомых. Вопросы он ставил в лоб.

– Эрнест, – сказал он, – вы не обидитесь, если я буду называть вас Эрнестом?

– Спросите у Данка, – сказал я.

– Не острите. Я говорю серьезно. Скажите, вы спали со своей женой до брака?

– Не знаю.

– То есть как не знаете?

– Не помню.

– Но как вы можете не помнить таких важных вещей?

– Не знаю, – сказал я. – Странно, не правда ли?

– Это более чем странно, – сказал Скотт, – Вы должны непременно вспомнить.

– Извините, не могу. Жаль, не правда ли?

– Оставьте вы эту английскую манеру выражаться, – сказал он. – Отнеситесь к делу серьезно и попробуйте вспомнить.

– Не выйдет, – сказал я. – Это безнадежно.

– Ну хоть попробуйте.

Его похвалы обходятся довольно дорого, решил я. И подумал было, что он ко всем новым знакомым обращается с подобной речью, но потом отказался от этой мысли: я видел, как он вспотел, пока говорил. На его длинной, безупречно ирландской верхней губе выступили мелкие капельки пота, – тогда я отвел глаза от его лица и прикинул длину его ног, которые он поджал, сидя на табурете у стойки. Теперь я снова посмотрел ему в лицо, и вот тут-то и произошла странная вещь, о которой я упомянул вначале.

Пока он сидел у стойки с бокалом шампанского, кожа на лице его как бы натянулась, так что одутловатость исчезла, потом натянулась еще сильнее, и лицо стало похоже на череп. Глаза ввалились и остекленели, губы растянулись, краска отхлынула от щек, и они стали грязно-воскового цвета. Это не было игрой моего воображения. Его лицо действительно превратилось в череп или маску, снятую с покойника.

– Скотт, – сказал я. – Что с вами?

Он не ответил, лицо его осунулось еще больше.

– Надо отвезти его на пункт первой помощи, – сказал я Данку Чаплину.

– Незачем. Он вполне здоров.

– Похоже, что он умирает.

– Нет. Это его так разобрало.

Мы усадили его в такси, и я очень беспокоился, но Данк сказал, что все в порядке и беспокоиться нечего.

– Он, наверно, совсем оправится, пока доберется до дома, – сказал он.

Так, видимо, и было, потому что когда через несколько дней я встретил его в «Клозери-де-Лиля» и сказал, что мне очень неприятно, что шампанское так на него подействовало, – возможно, мы слишком быстро пили за разговором, – он сказал:

– Не понимаю. Какое шампанское? И как оно на меня подействовало? О чем вы говорите, Эрнест?

– О том вечере в «Динго».

– Со мной в «Динго» ничего не случилось. Просто мне надоели эти омерзительные англичане, с которыми вы там были, и я ушел домой.

– При вас там не было ни одного англичанина. Только бармен.

– Ну что вы делаете из этого какие-то тайны? Вы знаете, о ком я говорю.

– А, – сказал я и подумал, что он вернулся в «Динго» позднее или на другой день. Но тут я вспомнил, что там действительно было двое англичан. Он был прав. Я вспомнил. Да, они действительно там были. –

Да, – сказал я. – Конечно.

– Эта якобы титулованная грубиянка и этот пьяный болван с ней. Они сказали, что они ваши друзья.

– Это правда. И она действительно бывает иногда груба.

– Вот видите. Ни к чему делать тайны, если кто-то просто выпил несколько бокалов вина. Зачем вам это нужно? Я от вас этого не ожидал.

– Не знаю. – Мне хотелось переменить тему разговора. Но тут я вспомнил: – Они наговорили вам грубостей из-за вашего галстука?

– Почему они должны были говорить мне грубости из-за моего галстука? На мне был обыкновенный черный вязаный галстук и белая спортивная рубашка.

Тут я сдался, а он спросил, почему мне нравится это кафе, и я рассказал ему, каким оно было в прежние времена, и он начал внушать себе, что ему тут тоже нравится, и мы продолжали сидеть; я – потому что мне тут нравилось, а он – потому что внушил себе это. Он задавал вопросы и рассказывал мне о писателях и издателях, литературных агентах и критиках, и о Джордже Горации Лоримере, и всякие сплетни, и, рассказывая о материальной стороне жизни известного писателя, был циничен, остроумен, добродушен, обаятелен и мил, так что даже привычка противиться новым привязанностям не помогла мне. Он с некоторым пренебрежением, но без горечи говорил обо всем, что написал, и я понял, что его новая книга, должно быть, очень хороша, раз он говорит без горечи о недостатках предыдущих книг. Он хотел, чтобы я прочел его новую книгу «Великий Гэтсби», и обещал дать ее мне, как только ему вернут последний и единственный экземпляр, который он дал кому-то почитать. Слушая его, нельзя было даже заподозрить, как хороша эта книга, – на это указывало лишь смущение, отличающее всех несамовлюбленных писателей, создавших что-то очень хорошее, и мне захотелось, чтобы ему поскорее вернули книгу и чтобы я мог поскорее ее прочесть.

Максуэлл Перкинс, сказал он, пишет, что книга расходится плохо, но что она получила очень хорошую прессу. Не помню, в тот ли день или позднее он показал мне предельно хорошую рецензию Гилберта Селдеса. Она могла бы быть лучше, только если бы сам Гилберт Селдес был лучше. Скотт был озадачен и расстроен тем, что книга расходится плохо, но, как я говорил, в словах его не было горечи – он лишь радовался и смущался, оттого что книга ему так удалась.

В тот день, когда мы сидели на открытой террасе «Ли́ла» и наблюдали, как сгущаются сумерки, как идут по тротуару люди, как меняется серое вечернее освещение, два виски с содовой, которые мы выпили, не вызвали

в Скотте никакого изменения. Я настороженно ждал, но ничего не произошло, и Скотт не задавал бесцеремонных вопросов, не ставил никого в неловкое положение, не произносил речей и вел себя как нормальный, умный и обаятельный человек.

Он рассказал, что им с Зельдой, его женой, пришлось из-за плохой погоды оставить свой маленький «рено» в Лионе, и спросил, не хочу ли я поехать с ним поездом в Лион, чтобы забрать машину и вернуться на ней в Париж. Фицджеральды сняли меблированную квартиру на улице Тильзит, 14, недалеко от площади Звезды. Был конец весны, и я подумал, что во Франции это самое красивое время года и поездка может быть отличной; Скотт казался таким милым и разумным, и на моих глазах он выпил две большие рюмки чистого виски, и ничего не случилось, и он был так обаятелен и так разумно вел себя, что вечер в «Динго» стал казаться неприятным сном. Поэтому я сказал, что с удовольствием поеду с ним в Лион.

Мы условились встретиться на следующий день и договорились поехать в Лион экспрессом, который отправлялся утром. Этот поезд отходил в удобное время и шел очень быстро. У него была только одна остановка – насколько я помню, в Дижоне. Мы намеревались приехать в Лион, проверить и привести в порядок машину, отлично поужинать, а рано утром отправиться обратно, в Париж.

Мысль об этой поездке приводила меня в восторг. Я буду находиться в обществе старшего, известного писателя и из разговоров в машине, несомненно, узнаю много полезного. Странно вспоминать, что я думал о Скотте как о писателе старшего поколения, но в то время я еще не читал его роман «Великий Гэтсби», и он казался мне гораздо старше. Я знал, что он пишет рассказы для «Сатердей ивнинг пост», которые широко читались три года назад, но никогда не считал его серьезным писателем. В «Клозери-де-Лила» он рассказал мне, как писал рассказы, которые считал хорошими – и которые действительно были хорошими, – для «Сатердей ивнинг пост», а потом перед отсылкой в редакцию переделывал их, точно зная, с помощью каких приемов их можно превратить в ходкие журнальные рассказы. Меня это возмутило, и я сказал, что, по-моему, это проституирование. Он согласился, что это проституирование, но сказал, что вынужден так поступать, чтобы писать настоящие книги. Я сказал, что, по-моему, человек губит свой талант, если пишет хуже, чем он может писать. Скотт сказал, что сначала он пишет настоящий рассказ, и то, как он потом его изменяет и портит, не может ему повредить. Я не верил этому и хотел переубедить его, но, чтобы подкрепить свою позицию, мне нужен был хоть один

собственный роман, а я еще не написал ни одного романа. С тех пор как я изменил свою манеру письма и начал избавляться от приглаголивания и попробовал создавать, вместо того чтобы описывать, писать стало радостью. Но это было отчаянно трудно, и я не знал, смогу ли написать такую большую вещь, как роман. Нередко на один абзац уходило целое утро.

Хэдли, моя жена, очень обрадовалась, узнав про нашу поездку, хотя и не относилась серьезно к тем произведениям Скотта, которые прочитала. Ее идеалом хорошего писателя был Генри Джеймс. Но она считала, что мне не мешает отдохнуть от работы и поехать, хотя мы тут же пожалели, что не можем купить автомобиль и поехать вдвоем. Тогда я и представить себе не мог, что это когда-нибудь станет возможным. Я получил аванс в двести долларов от издательства «Бони и Ливрайт» за первую книгу рассказов, которая должна была выйти в Америке осенью, я продавал рассказы «Франкфуртер цейтунг», и берлинскому журналу «Квершнитт», и парижским изданиям «Куортер» и «Трансатлантик ревью», и мы жили очень экономно и позволяли себе только самые необходимые расходы, чтобы скопить денег и в июле поехать на *feria* в Памплону, а потом в Мадрид и на *feria* в Валенсию.

В то утро, когда мы условились встретиться на Лионском вокзале, я приехал туда заблаговременно и стал ждать Скотта у входа на перрон. Он должен был принести билеты. Время отправления поезда подошло, а он все не появлялся, и я купил перронный билет и пошел вдоль состава, надеясь его увидеть. Его не было, а экспресс должен был вот-вот тронуться, и я вскочил в вагон и прошел по всему поезду, рассчитывая, что он все-таки здесь. Состав был длинный, но Скотта я не нашел. Я объяснил кондуктору, в чем дело, заплатил за билет второго класса – третьего не оказалось – и спросил у кондуктора, какой отель в Лионе считается лучшим. У меня не было другого выбора, и я телеграфировал Скотту из Дижона, сообщив адрес лионского отеля, где буду его ждать. Я понимал, что он не успеет получить телеграмму до отъезда, но рассчитывал, что его жена перешлет ее ему. Я никогда прежде не слышал, чтобы взрослый человек опаздывал на поезд, однако за эту поездку мне предстояло узнать много нового.

Характер у меня был тогда очень скверный и вспыльчивый, но к тому времени, когда мы проехали Монтеро, я несколько успокоился и злость уже не мешала мне любоваться видами за окном вагона, а в полдень я хорошо поел в вагоне-ресторане, выпил бутылку «сент-эмильона» и решил, что, даже если я сваял дурака, приняв приглашение участвовать в поездке, которую должен был оплатить кто-то другой, а в результате трачу деньги,

которые нужны нам на путешествие в Испанию, это будет мне хорошим уроком. Я никогда раньше не соглашался поехать куда-либо за чужой счет, а всегда платил за себя и на этот раз тоже настоял, чтобы гостиницы и еду мы оплачивали пополам. Но теперь я даже не знал, приедет ли Фицджеральд вообще. От злости я разжаловал его из Скотта в Фицджеральда. Позднее я был очень доволен, что исчерпал всю злость вначале. Эта поездка была не для человека, которого легко разозлить.

В Лионе я узнал, что Скотт выехал из Парижа в Лион, но не предупредил, где остановится. Я повторил свой лионский адрес, и горничная сказала, что передаст ему, если он позвонит. Мадам нездоровится, и она еще спит. Я позвонил во все большие отели и сообщил свой адрес, но Скотта не разыскал и пошел в кафе выпить аперитив и почитать газеты. В кафе я познакомился с человеком, который зарабатывал на жизнь тем, что глотал огонь, а также большим и указательным пальцами сгибал монеты, зажав их в беззубых челюстях. Он показал мне свои десны – они были воспалены, но казались крепкими, и он сказал, что это неплохое [metier](#)³⁷. Я пригласил его выпить со мной, и он с удовольствием согласился. У него было тонкое смуглое лицо, и оно светилось и сияло, когда он глотал огонь. Он сказал, что в Лионе умение глотать огонь и демонстрировать чудеса силы с помощью пальцев и челюстей не приносит большого дохода. Псевдоглотатели огня погубили его [metier](#) и будут губить и впредь повсюду, где им будет разрешено выступать. Он глотал огонь весь вечер, сказал он, и все же у него нет денег даже на глоток чего-нибудь посущественнее. Я предложил ему выпить еще рюмку, чтобы смыть привкус бензина, оставшийся от глотания огня, и сказал, что мы могли бы поужинать вместе, если он знает хорошее и достаточно дешевое место. Он сказал, что знает отличное место.

Мы очень недорого поели в алжирском ресторане, и мне понравилась еда и алжирское вино. Пожиратель огня был симпатичным человеком, и было интересно наблюдать, как он ест, потому что он жевал деснами не хуже, чем большинство людей зубами. Он спросил, чем я зарабатываю на жизнь, и я ответил, что пробую стать писателем. Он спросил, что я пишу, и я ответил, что рассказы. Он сказал, что знает много историй, более ужасных и невероятных, чем все написанное до сих пор. Он может рассказать их мне, чтобы я их записал, а потом, если за них заплатят, я почестному отдам ему его долю. А еще лучше поехать вместе в Северную Африку, и он поможет мне добраться до страны Синего султана, где я добуду такие истории, каких не слышал еще ни один человек.

Я спросил его, что это за истории, и он сказал: битвы, казни, пытки,

насилия, жуткие обычаи, невероятные обряды, оргии, – словом, такое, что мне может пригодиться. Пора было возвращаться в отель и снова попробовать найти Скотта, и я заплатил за ужин и сказал, что мы наверняка еще как-нибудь встретимся. Он сказал, что думает добраться до Марселя, а я сказал, что рано или поздно мы где-нибудь встретимся и что мне было очень приятно поужинать с ним. Он принялся распрямлять согнутые монеты и складывать их столбиком на столе, а я пошел в отель.

Лион по вечерам не очень веселый город. Это большой, неторопливый денежный город, – возможно, прекрасный город, если у вас есть деньги и вам нравятся такие города. Я уже давно слышал о замечательных цыплятах в лионских ресторанах, но мы ели не цыплят, а баранину. Баранина была отличная.

Скотт не подавал признаков жизни, и я улегся в постель среди непривычной гостиничной роскоши и принялся читать первый том «Записок охотника» Тургенева, который взял в библиотеке Сильвии Бич. Впервые за три года я оказался среди роскоши большого отеля, широко распахнул окна, и подложил подушки под плечи и голову, и был счастлив, бродя с Тургеневым по России, пока не уснул с книгой в руках. Когда утром я брился перед завтраком, позвонил портье и сказал, что внизу меня ждет какой-то господин.

– Пожалуйста, попросите его подняться в номер, – сказал я и продолжал бриться, прислушиваясь к шуму города, который уже давно неторопливо просыпался.

Скотт не поднялся ко мне в номер, и я спустился к нему в холл.

– Мне ужасно неприятно, что произошло такое недоразумение, – сказал он. – Если бы я знал, в какой гостинице вы собираетесь остановиться, все было бы просто.

– Ничего страшного, – сказал я; нам предстояла длительная совместная поездка, и я предпочитал мирные отношения. – Каким поездом вы приехали?

– Вскоре после вашего. Это очень удобный поезд, и мы могли бы прекрасно поехать на нем вместе.

– Вы завтракали?

– Нет еще. Я рыскал по городу, ища вас.

– Очень досадно, – сказал я. – Разве дома вам не сказали, что я здесь?

– Нет. Зельда неважно себя чувствует, и мне, вероятно, не следовало ехать. Пока все это путешествие складывается крайне неудачно.

– Давайте позавтракаем, отыщем машину и тронемся в путь, – сказал я.

- Отлично. Завтракать будем здесь?
- В кафе было бы быстрее.
- Но зато здесь, несомненно, хорошо кормят.
- Ну ладно.

Это был обильный завтрак на американский манер – с яичницей и ветчиной, очень хороший. Пока мы заказывали его, ждали, ели и снова ждали, чтобы расплатиться, прошел почти час. А когда официант принес счет, Скотт решил заказать корзину с провизией на дорогу. Я пытался отговорить его, так как был уверен, что в Маконе мы сможем купить бутылку макона, а для бутербродов раздобудем что-нибудь в charcuterie³⁸. Или же, если к тому времени все будет закрыто, по пути сколько угодно ресторанов, где можно перекусить. Но он сказал, что, по моим же словам, в Лионе прекрасно готовят цыплят и нам непременно надо захватить с собой цыпленка. В конце концов отель снабдил нас на дорогу провизией, которая обошлась в четыре-пять раз дороже, чем если бы мы купили ее сами.

Скотт, несомненно, выпил, прежде чем зайти за мной, и, судя по его виду, ему надо было выпить еще, так что я спросил, не хочет ли он зайти в бар, прежде чем двинуться в путь. Он сказал, что по утрам не пьет, и спросил, пью ли я. Я ответил, что это зависит только от того, какое у меня настроение и что мне предстоит делать, а он сказал, что если у меня есть настроение, то он составит мне компанию, чтобы я не пил в одиночестве. Так что, ожидая, пока будет готова корзина с провизией, мы выпили по виски с минеральной водой, и настроение у нас обоих стало заметно лучше.

Я заплатил за номер и виски, хотя Скотт хотел платить за все. С самого начала поездки мне было как-то не по себе, и я убедился, что чувствую себя гораздо лучше, когда плачу за все сам. Я тратил деньги, которые мы накопили для Испании, но я знал, что Сильвия Бич всегда даст мне в долг и я смогу восполнить то, что истрачу сейчас.

В гараже, где Скотт оставил свою машину, я с удивлением обнаружил, что у его маленького «рено» нет крыши. Ее помяли в Марселе при выгрузке или еще где-то, и Зельда велела убрать ее совсем и не позволила поставить новую. Скотт объяснил, что его жена вообще терпеть не может закрытые машины, что они доехали так до Лиона, а тут их задержал дождь. В остальном машина была в хорошем состоянии, и Скотт заплатил по счету, предварительно попытавшись оспорить стоимость мойки, смазки и заливки двух литров масла. Механик в гараже объяснил мне, что нужно было бы сменить поршневые кольца, так как автомобиль, очевидно, недостаточно заправляли маслом и водой. Он показал мне, что мотор перегревался и на

нем обгорела краска. Механик добавил, что если я смогу убедить мосье сменить в Париже кольца, то автомобиль – отличная маленькая машина – будет служить так, как ему положено.

– Мосье не разрешил мне поставить новую крышу, – сказал механик.

– Да?

– Машины нужно уважать.

– Конечно.

– Вы не захватили плащей?

– Нет, – сказал я. – Я не знал про крышу.

– Постарайтесь заставить мосье быть серьезным, – умоляюще сказал механик. – Хотя бы по отношению к машине.

– М-м, – сказал я.

Дождь захватил нас примерно через час к северу от Лиона.

В тот день мы раз десять останавливались из-за дождя. Это были внезапные ливни, иногда довольно затяжные. Если бы у нас были плащи, то ехать под этим весенним дождем было бы даже приятно. Но теперь нам приходилось прятаться под деревьями или останавливаться у придорожных кафе. У нас была с собой великолепная еда из лионского отеля, отличный жареный цыпленок с трюфелями, великолепный хлеб и белое маконское вино. И Скотт с большим удовольствием пил его при каждой остановке. В Маконе я купил еще четыре бутылки прекрасного вина и откупоривал их по мере надобности.

Пожалуй, Скотт впервые пил вино прямо из горлышка, а потому испытывал радостное возбуждение, как человек, когда знакомится с жизнью притонов, или как девушка, которая впервые решила искупаться без купального костюма. Но вскоре после полудня он стал беспокоиться о своем здоровье. Он рассказал мне о двух людях, которые недавно умерли от воспаления легких. Оба они умерли в Италии, и он был глубоко потрясен этим.

Я сказал ему, что воспаление легких – это просто старинное название пневмонии, а он ответил, что я ничего в этом не смыслю и совершенно не прав. Воспаление легких – это сугубо европейская болезнь, и я не могу ничего о ней знать, даже если читал медицинские книги своего отца, поскольку в них рассматривались только чисто американские болезни. Я сказал, что мой отец учился и в Европе. Но Скотт заявил, что воспаление легких появилось в Европе только недавно и мой отец не мог ничего о нем знать. Он, кроме того, заявил, что в разных частях Америки болезни бывают разные и если бы мой отец практиковал в Нью-Йорке, а не на Среднем Западе, то он бы знал совершенно другую гамму болезней. Он так

и сказал: «гамму».

Я сказал, что в одном он прав: в одной части Соединенных Штатов встречаются болезни, которые отсутствуют в другой, и привел в пример относительно высокую заболеваемость проказой в Новом Орлеане и низкую – в Чикаго. Но я сказал, что врачи имеют обыкновение обмениваться знаниями и информацией, и теперь, когда он заговорил об этом, я вспоминаю, что читал в «Журнале американской медицинской ассоциации» авторитетную статью о воспалении легких в Европе, где история этой болезни прослеживалась до дней самого Гиппократы. Это на время заставило его умолкнуть, и я уговорил его выпить еще макона, утверждая, что хорошее белое вино с низким содержанием алкоголя – апробированное средство против этой болезни.

После этого Скотт немного повеселел, но скоро снова впал в уныние и спросил, успеем ли мы добраться до большого города, прежде чем у него начнется жар и бред, которые, как я ему уже сказал, являются симптомами настоящего европейского воспаления легких. Тогда я рассказал ему содержание статьи о той же болезни во французском журнале, которую прочел, пока ждал в американском госпитале в Нейи очереди на ингаляцию. Слово «ингаляция» несколько успокоило Скотта. Но он опять спросил, когда мы доберемся до города. Я сказал, что если мы поедем без остановок, то будем там минут через двадцать пять, словом, в пределах часа.

Потом Скотт спросил меня, боюсь ли я умереть, и я сказал, что иногда боюсь, а иногда не очень.

К этому времени начался сильный дождь, и мы укрылись в ближайшей деревне в кафе. Я не помню всех подробностей этого вечера, но когда мы наконец попали в гостиницу, – кажется, это было в Шалоне-на-Соне, – было так поздно, что все аптеки уже закрылись. Как только мы добрались до гостиницы, Скотт разделся и лег в постель. Он не возражает умереть от воспаления легких, сказал он. Единственное, что его тревожит, – это кто позаботится о Зельде и маленькой Скотти. Я не очень представлял себе, как сумею заботиться о них, поскольку мне приходилось заботиться о моей жене Хэдли и маленьком Бамби и этого было вполне достаточно, однако я сказал, что сделаю все, что в моих силах, и Скотт поблагодарил меня. Я должен следить за тем, чтобы Зельда не пила и чтобы у Скотти была английская гувернантка.

Мы отдали просушить нашу одежду и были теперь в пижамах. Скотт лежал в постели, чтобы набраться сил для единоборства с болезнью. Я пощупал его пульс – семьдесят два в минуту, и потрогал лоб – холодный. Я

выслушал его и велел ему дышать поглубже, но ничего необычного не услышал.

– Знаете, Скотт, – сказал я. – У вас все в порядке. Но чтобы не простудиться, полежите немного, а я закажу лимонного сока и виски, и вы еще примете аспирин, и будете чувствовать себя прекрасно, и даже обойдетесь без насморка.

– Все это бабкины средства, – сказал Скотт.

– У вас нет никакой температуры. А воспаление легких, черт подери, без температуры не бывает.

– Не ругайтесь, – сказал Скотт. – Откуда вы знаете, что у меня нет температуры?

– Пульс у вас нормальный и лоб на ощупь холодный.

– На ощупь, – сказал Скотт с горечью. – Если вы мне настоящий друг, достаньте термометр.

– Но ведь я в пижаме.

– Тогда пошлите за ним.

Я позвонил коридорному. Он не пришел, и я позвонил снова, а потом вышел, чтобы разыскать его. Скотт лежал, закрыв глаза, и дышал медленно и размеренно, – восковая кожа и правильные черты лица делали его похожим на маленького мертвого крестоносца. Мне начинала надоедать эта литературная жизнь – если это была литературная жизнь, – и мне не хватало ощущения проделанной работы, и на меня уже напала смертная тоска, которая наваливается в конце каждого напрасно прожитого дня. Мне очень надоел Скотт и вся эта глупая комедия, но я разыскал коридорного, и дал ему денег на термометр и аспирин, и заказал два citron presses³⁹ и два двойных виски. Я хотел заказать бутылку виски, но виски продавали только в розлив.

Когда я вернулся в номер. Скотт все еще лежал, как изваяние на собственном надгробии, – глаза его были закрыты, и он дышал с невозмутимым достоинством.

Услышав, что я вошел в номер, он спросил:

– Вы достали термометр?

Я подошел и положил руку ему на лоб. Ото лба не веяло могильным холодом. Но он был прохладным и сухим.

– Нет, – сказал я.

– Я думал, что вы его принесете.

– Я послал за ним.

– Это не одно и то же.

– Да. Совсем, не так ли?

На Скотта нельзя было сердиться, как нельзя сердиться на сумасшедшего, и я начинал сердиться на себя за то, что ввязался в эту глупую историю. Впрочем, я понимал, почему он ведет себя так. В те дни большинство пьяниц умирало от пневмонии – болезни, которая сейчас почти безопасна. Но считать Скотта пьяницей было трудно, поскольку на него действовали даже ничтожные дозы алкоголя.

В Европе в те дни мы считали вино столь же полезным и естественным, как еду, а кроме того, оно давало ощущение счастья, благополучия и радости. Вино пили не из снобизма и не ради позы, и это не было культом: пить было так же естественно, как есть, а мне – так же необходимо, и я не стал бы обедать без вина, сидра или пива. Мне нравились все вина, кроме сладких, сладковатых или слишком терпких, и мне даже в голову не пришло, что те несколько бутылок очень легкого, сухого белого макона, которые мы распили, могли вызвать в Скотте химические изменения, превратившие его в дурака. Правда, утром мы пили виски с минеральной водой, но я тогда еще ничего не знал об алкоголиках и не мог себе представить, что рюмка виски может так сильно подействовать на человека, едущего в открытой машине под дождем. Алкоголь должен был бы очень скоро выветриться.

Ожидая коридорного, я сидел и читал газету, допивая бутылку макона, которую мы откупили на последней остановке. Во Франции всегда найдется в газете какое-нибудь потрясающее преступление, за распутыванием которого молено следить изо дня в день. Эти отчеты читаются, как романы, но, чтобы получить удовольствие, необходимо знать содержание предыдущих глав, поскольку французские газеты, в отличие от американских, не печатают краткого изложения предшествующих событий; впрочем, и американские романы с продолжением читать не интересно, если не знать, о чем говорилось в самой важной первой главе. Когда путешествуешь по Франции, газеты во многом утрачивают свою прелесть, поскольку прерывается последовательное изложение всяческих crimes, affaires или scandales⁴⁰ и пропадает то удовольствие, которое получаешь, когда читаешь о них в кафе. Я предпочел бы сейчас оказаться в кафе, где мог бы читать утренние выпуски парижских газет, и смотреть на прохожих, и пить перед ужином что-нибудь посолиднее макона. Но у меня на руках был Скотт, и я довольствовался тем, что есть.

Тут явился коридорный с двумя стаканами лимонного сока со льдом, виски и бутылкой минеральной воды «перье» и сказал мне, что аптека уже закрылась и он не смог купить термометр. Но аспирин он у кого-то одолжил. Я спросил, не может ли он одолжить и термометр. Скотт открыл

глаза и бросил на коридорного злобный ирландский взгляд.

– Вы объяснили ему, насколько это серьезно?

– Мне кажется, он понимает.

– Пожалуйста, постарайтесь ему втолковать.

Я постарался, и коридорный сказал:

– Попробую что-нибудь сделать.

– Достаточно ли вы дали ему на чай? Они работают только за чаевые.

– Я этого не знал, – сказал я. – Я думал, что гостиница тоже им платит.

– Я хотел сказать, что они ничего для вас не сделают без приличных чаевых. Почти все они отъявленные мерзавцы.

Я вспомнил Ивена Шипмена и официанта из «Клозери-де-Лиля», которого заставили сбрить усы, когда в «Клозери» открыли американский бар, и подумал о том, как Ивен работал у него в саду в Монруже задолго до того, как я познакомился со Скоттом, и как мы все давно и хорошо дружили в «Лиля», и какие там произошли перемены, и что они означали для всех нас. Я хотел бы рассказать Скотту о том, что происходит в «Лиля», хотя, вероятно, уже раньше говорил ему об этом, но я знал, что его не трогают ни официанты, ни их беды, ни их доброта и привязанность. В то время Скотт ненавидел французов, а так как общаться ему приходилось преимущественно с официантами, которых он не понимал, с шоферами такси, служащими гаражей и хозяевами квартир, он находил немало возможностей оскорблять их.

Еще больше, чем французов, он ненавидел итальянцев и не мог говорить о них спокойно, даже когда был трезв. Англичан он тоже ненавидел, но иногда терпел их, относился к ним снисходительно, а изредка и восхищался ими. Не знаю, как он относился к немцам и австрийцам. Возможно, тогда ему еще не доводилось с ними сталкиваться, как и со швейцарцами.

В тот вечер в гостинице я только радовался, что он так спокоен. Я приготовил ему лимонад с виски и дал проглотить две таблетки аспирина – он проглотил их удивительно спокойно и беспрекословно, а потом стал потягивать виски. Его глаза были теперь открыты и устремлены куда-то в пространство. Я читал отчет о преступлении на внутреннем развороте газеты, и мне было очень хорошо.

– А вы бессердечны, не правда ли? – спросил Скотт, и, взглянув на него, я понял, что, возможно, не ошибся в диагнозе, но, уж во всяком случае, дал ему не то лекарство, и виски работало против нас.

– Почему же, Скотт?

– Вот вы можете сидеть и читать эту паршивую французскую

газетенку, и вам все равно, что я умираю.

– Хотите, чтобы я вызвал врача?

– Нет. Я не хочу иметь дело с грязным провинциальным французским врачом.

– А чего же вы хотите?

– Я хочу измерить температуру. Потом я хочу, чтобы мою одежду высушили и мы могли бы уехать экспрессом в Париж, а там сразу отправиться в американский госпиталь в Нейи.

– Наша одежда не высохнет до утра, а экспрессы тут не останавливаются, – сказал я. – Попробуйте отдохнуть, а потом поужинаете в постели.

– Я хочу измерить температуру.

Это продолжалось довольно долго – до тех пор, пока коридорный не принес термометр.

– Неужели других не было? – спросил я.

Когда коридорный вошел, Скотт закрыл глаза и стал впрямь похож на умирающую Камилу. Я никогда не видел, чтобы у человека так быстро отливала кровь от лица, и не мог понять, куда она девается.

– Других в гостинице нет, – сказал коридорный и подал мне термометр. Это был ванный градусник в деревянном корпусе с металлическим грузилом. Я хлебнул виски и, распахнув окно, секунду глядел на дождь. Когда я обернулся, оказалось, что Скотт пристально смотрит на меня.

Я профессионально стряхнул термометр и сказал:

– Ваше счастье, что это не анальный термометр.

– А этот куда ставят?

– Под мышку, – сказал я и сунул его себе под руку.

– Не надо, а то он будет неправильно показывать, – сказал Скотт.

Я снова одним резким движением стряхнул термометр, расстегнул Скотту пижаму, поставил термометр ему под мышку, а потом пощупал его холодный лоб и снова проверил пульс. Он глядел прямо перед собой. Пульс был семьдесят два. Я заставил его держать термометр четыре минуты.

– Я думал, его держат всего минуту, – сказал Скотт.

– Это большой термометр, – ооъяснил я. – Нужно помножить на квадрат всей площади термометра. Это термометр Цельсия.

– В конце концов я вынул термометр и поднес его к лампе, стоявшей на столе.

– Сколько?

– Тридцать семь и шесть.

- А какая нормальная?
- Это и есть нормальная.
- Вы уверены?
- Уверен.
- Проверьте на себе. Я должен знать точно.

Я стряхнул термометр, расстегнул пижаму, сунул термометр под мышку и заметил время. Потом я вынул его.

- Сколько?

Я внимательно поглядел на термометр.

- Точно такая же.
- А как вы себя чувствуете?
- Великолепно, – сказал я.

Я пытался вспомнить, нормальная ли температура тридцать семь и шесть. Но это не имело ни малейшего значения, потому что термометр все это время показывал тридцать.

Скотт что-то заподозрил, и я предложил ему поставить термометр еще раз.

– Не надо, – сказал он. – Можно лишь радоваться, что все так быстро прошло. Я всегда выздоравливаю чрезвычайно быстро.

– Вы молодец, – сказал я. – Но мне кажется, вам все-таки лучше полежать в постели и съесть легкий ужин, а рано утром мы сможем двинуться в путь.

У меня было намерение купить нам обоим плащи, но для этого пришлось бы занимать деньги у Скотта, а мне не хотелось сейчас пререкаться с ним по этому поводу.

Скотт не хотел лежать в постели. Он хотел встать, одеться, спуститься вниз и позвонить Зельде, чтобы она знала, что с ним ничего не случилось.

- А почему она должна думать, что с вами что-то случилось?
- Это первая ночь за время нашего брака, когда я буду спать вдали от нее, и мне необходимо поговорить с ней. Неужели вы не можете понять, что это значит для нас обоих?

Это я мог понять, хоть и не понимал, каким образом они с Зельдой ухитрились спать вместе прошлой ночью. Однако спрашивать было бы бесполезно. Скотт залпом допил виски с лимонным соком и попросил меня заказать еще.

Я нашел коридорного, возвратил ему термометр и спросил, высохла ли наша одежда. Он сказал, что она высохнет примерно через час.

- Попросите прогладить ее. Не страшно, если она будет чуть влажной.
- Коридорный принес две рюмки противостудного напитка, и,

прихлебывая из своей, я уговаривал Скотта не торопиться и пить маленькими глотками. Теперь я серьезно беспокоился, что он может простудиться, – я уже понимал, что, если он схватит настоящую простуду, то его, наверно, придется везти в больницу. Но, выпив, он на какое-то время почувствовал себя прекрасно и был счастлив, что переживает такую трагедию, когда он и Зельда впервые после свадьбы проводят ночь не вместе. Наконец он захотел во что бы то ни стало позвонить ей сейчас же, и надел халат, и отправился вниз заказывать разговор.

Париж обещали дать не сразу, и вскоре после того, как Скотт вернулся в номер, явился коридорный с двумя новыми рюмками виски с лимонным соком. Впервые при мне Скотт выпил так много, но это почти не подействовало на него, и он только оживился, и стал разговорчивым, и начал рассказывать, как складывалась его жизнь с Зельдой. Он рассказал, как познакомился с ней во время войны, как потерял ее и как снова завоевал ее любовь, и об их браке, и о чем-то ужасном, что произошло с ними в Сан-Рафаэле примерно год назад. Этот первый вариант его рассказа о том, как Зельда и французский морской летчик влюбились друг в друга, был по-настоящему печален, и я думаю, это была правда. Позже он рассказывал мне другие варианты того же самого, словно прикидывал, какой может подойти для романа, но ни один не был таким грустным, как первый, и я до конца верил именно в первый вариант, хотя любой из них мог быть правдой. Каждый раз он рассказывал с большим искусством, но ни один вариант не трогал так, как первый.

Скотт был очень хорошим рассказчиком. Здесь ему не приходилось следить за орфографией или расставлять знаки препинания, и эти рассказы в отличие от его невыправленных писем не вызывали ощущения безграмотности. Мы были знакомы уже два года, когда он наконец научился писать мою фамилию правильно, но, конечно, это очень длинная фамилия, и, возможно, писать ее с каждым разом становилось все труднее, и ему делает большую честь то, что в конце концов он научился писать ее правильно. Он научился правильно писать и гораздо более важные вещи и старался логично мыслить об очень многом.

Но в тот вечер он хотел, чтобы я узнал, понял и оценил то, что произошло тогда в Сан-Рафаэле, и я увидел все это удивительно ясно: одноместный гидроплан, низко пролетающий над мостками для прыжков в воду, и цвет моря, и форму поплавков гидроплана, и тень, которую они отбрасывали, и загар Зельды, и загар Скотта, и их головы, темно-русую и светло-русую, и загорелое лицо юноши, влюбленного в Зельду. Я не мог задать вопроса, который не выходил у меня из головы: если рассказ его был

правдой и все это было, как мог Скотт каждую ночь спать в одной постели с Зельдой? Но, может быть, именно потому эта история и была самой печальной из всех, которые я когда-либо слышал; а может быть, он просто забыл, как забыл про прошлую ночь.

Нам принесли нашу одежду до того, как Париж ответил, и мы оделись и пошли вниз ужинать. Скотт нетвердо держался на ногах и воинственно косился на окружающих. Сначала нам подали очень хороших улиток и графин флери, но мы не успели съесть и половины, как Скотта вызвали к телефону. Его не было около часа, и в конце концов я доел его улиток, макая кусочки хлеба в соус из растопленного масла, чеснока и петрушки, и допил графин флери. Когда он вернулся, я предложил заказать еще улиток, но он сказал, что не хочет. Ему хотелось чего-нибудь простого. Он не хотел ни бифштекса, ни печенки, ни грудинки, ни омлета. Он потребовал цыпленка. Днем мы съели вкусного холодного цыпленка, но и здешние места славились своими курами, так что мы заказали *poularde de Bresse*⁴¹ и бутылку монтаньи – местного белого вина, легкого и приятного. Скотт ел мало и никак не мог допить бокал вина. Потом положил голову на руки и перестал сознавать окружающее. Это не было притворством, рассчитанным на эффект, и даже казалось, что он прилагает огромные усилия не расплескать и не разбить чего-нибудь. Мы с коридорным отвели его наверх, в номер, и положили на кровать, и я снял с него все, кроме белья, повесил его одежду, а потом выдернул из-под него покрывало и укутал его. Я открыл окно, увидел, что дождь кончился, и оставил окно открытым.

Я спустился вниз и доел ужин, думая о Скотте. Ему, несомненно, нельзя было пить, а я плохо смотрел за ним. Алкоголь даже в самом малом количестве действовал на него крайне возбуждающе, а потом отравлял его, и я решил, что завтра пить мы не будем. Я скажу ему, что скоро мы будем в Париже и мне нужно войти в форму, чтобы писать. Это была неправда. Мне было достаточно не пить после обеда, перед тем как садиться писать, и во время работы. Я поднялся наверх, распахнул все окна, разделся и моментально заснул.

На следующий день выдалась чудесная погода, и мы ехали в Париж через Кот-д'Ор, дыша воздухом и глядя на обновленные холмы, поля и виноградники, и Скотт был очень весел, отлично себя чувствовал и рассказывал мне обо всех книгах Майкла Арлена подряд. Майкл Арлен, сказал он, человек, достойный внимания, и мы оба можем многому у него научиться. Я сказал, что не могу читать его книг. Он сказал, что мне и не нужно их читать. Он перескажет мне фабулы и опишет действующих лиц. Это была устная диссертация о творчестве Майкла Арлена.

Мы расстались у его дома, я на такси вернулся на свою лесопилку, и у меня была чудесная встреча с женой, и мы пошли в «Клозери-де-Лиля» немножко выпить. Мы были счастливы, как дети, которые долго были врозь, а теперь опять вместе, и я рассказывал ей о поездке.

– И тебе было скучно, и ты не узнал ничего интересного, Тэти? – спросила она.

– Я мог бы многое узнать о Майкле Арлене, если бы слушал. А потом, я узнал такое, в чем еще не разобрался.

– Неужели Скотт так несчастен?

– Возможно.

– Бедный.

– Но одно все-таки я узнал.

– Что?

– Путешествуй только с теми, кого любишь.

– И это уже кое-что.

– Да. И мы едем в Испанию.

– Да. И до отъезда осталось меньше полутора месяцев.

– И уж в этом году мы никому не позволим нам все испортить, правда?

– Правда. А из Памплоны мы поедем в Мадрид, а потом в Валенсию.

– М-м-м-м, – промурлыкала она, как котенок.

– Бедный Скотт, – сказал я.

– Все бедные, – сказала Хэдли, – богаты легкомыслием, но без гроша в кармане.

– Нам страшно везет.

– Надо вести себя хорошо, чтобы не упустить удачу. Мы постучали по столику, чтобы не сглазить, и официант подошел узнать, что нам нужно. Но того, что было нам нужно, ни официант, ни кто другой, ни прикосновение к дереву или мрамору – столик был мраморный – дать нам не могли. Однако в тот вечер мы этого не знали и были счастливы.

Через день или два после нашей поездки Скотт принес мне свою книгу. На ней была пестрая суперобложка, и, я помню, мне стало как-то неловко, что она такая броская, безвкусная, скользкая. Она была похожа на суперобложку плохого научно-фантастического романа. Скотт просил меня не обращать на это внимания: она подсказана рекламным щитом на шоссе в Лонг-Айленде, который играет важную роль в сюжете. Он сказал, что раньше ему суперобложка нравилась, а теперь нет. Перед тем как читать, я снял ее.

Когда я дочитал эту книгу, я понял, что, как бы Скотт ни вел себя и что бы он ни делал, я должен помнить, что это болезнь, и помогать ему, и

стараться быть ему хорошим другом. У него было много, очень много хороших друзей, больше, чем у кого-либо из моих знакомых. Но я включил себя в их число, не думая, пригожусь я ему или нет. Если он мог написать такую великолепную книгу, как «Великий Гэтсби», я не сомневался, что он может написать и другую, которая будет еще лучше. Тогда я еще не был знаком с Зельдой и потому не знал, как страшно все складывалось против него. Но мы убедились в этом раньше, чем нам бы хотелось.

Ястребы не делятся добычей

Скотт Фицджеральд пригласил нас пообедать с ним, его женой Зельдой и маленькой дочкой в меблированной квартире, которую они снимали на улице Тильзит, 14. Я почти забыл эту квартиру и помню только, что она была темная и душная и в ней, казалось, не было ничего, что принадлежало бы им, кроме первых книг Скотта в светло-голубых кожаных переплетах с золотым тиснением. Кроме того, Скотт показал нам грессбук, куда он аккуратно заносил названия всех своих опубликованных произведений и суммы полученных за них гонораров, а также суммы, полученные за право их экранизации, и проценты от продаж его книг. Все было записано так тщательно, словно это был судебный журнал, и Скотт показывал его нам с безличной гордостью хранителя музея. Скотт нервничал, старался быть гостеприимным и показывал записи своих заработков так, словно это было главное, на что стоит смотреть. Но смотреть было не на что.

Зельде было не по себе с похмелья. Накануне вечером они были на Монмартре и поссорились из-за того, что Скотт не хотел напиваться. Он сказал мне, что решил упорно работать и не пить, а Зельда вела себя так, будто он был брызгой и нарочно портил ей удовольствие. Она именно так и сказала, и, конечно, последовали взаимные обвинения, и Зельда, как всегда, начала отрицать: «Я не говорила этого. Я ничего подобного не говорила. Это неправда, Скотт». Потом она, казалось, что-то вспоминала и принималась весело смеяться.

В тот день Зельда плохо выглядела. Ее прекрасные русые волосы были на время погублены неудачным перманентом, который она сделала в Лионе, когда дождь заставил их прервать путешествие на машине, глаза у нее были усталые, лицо осунулось.

Она была официально любезна с Хэдли и со мной, но мысленно, казалось, все еще была на вечеринке, с которой возвратилась утром. И Скотт и она, по-видимому, считали, что наша поездка со Скоттом прошла чрезвычайно весело.

— Раз вы так замечательно прокатились, то, по справедливости, и я могла немножко повеселиться с друзьями в Париже, — сказала она Скотту.

Скотт разыгрывал гостеприимного хозяина, и мы съели очень плохой обед, который скрасило вино, но не слишком. Его дочка была белокурая, пухленькая, крепкая и говорила с сильным акцентом лондонских окраин.

Скотт объяснил, что ей взяли няню-англичанку, так как он хотел, чтобы она, когда вырастет, говорила, как леди Диана Мэннерс.

У Зельды были ястребиные глаза и тонкие губы, а выговор и манеры выдавали в ней уроженку Юга. По ее лицу было видно, как она время от времени мысленно переносилась на вчерашнюю вечеринку, а возвращалась она оттуда со взглядом пустым, как у кошки, потом в глазах ее появлялось удовлетворение, удовлетворение пробежало по тонким губам и исчезало. Скотт разыгрывал заботливого, веселого хозяина, а Зельда смотрела на него, и глаза ее и рот трогала счастливая улыбка, потому что он пил вино. Впоследствии я хорошо изучил эту улыбку. Она означала, что Зельда знает, что Скотт опять не сможет писать.

Зельда ревновала Скотта к его работе, и по мере того, как мы узнавали их ближе, все вставало на свое место. Скотт твердо решал не ходить на ночные попойки, ежедневно заниматься гимнастикой и регулярно работать. Он начинал работать и едва втягивался, как Зельда принималась жаловаться, что ей скучно, и тащила его на очередную пьянку. Они ссорились, потом мирились, и он ходил со мной в дальние прогулки, чтобы оправиться от алкогольного отравления, и принимал твердое решение начать работать. И работа у него шла. А потом все повторялось снова.

Скотт был влюблен в Зельду и очень ревновал ее. Во время наших прогулок он снова и снова рассказывал мне, как она влюбилась в морского летчика. Но с тех пор она ни разу не давала ему настоящего повода ревновать ее к мужчинам. Этой весной он ревновал ее к женщинам и во время вечеринок на Монмартре боялся мертвецки напиться и боялся, что то же произойдет с ней. Однако мгновенное опьянение было их главным спасением. Они засыпали от дозы спирта или шампанского, которая не оказала бы никакого действия на человека, привыкшего пить, и засыпали, как дети. Я не раз видел, как они теряли сознание, словно не от вина, а от наркоза, и друзья – иногда шофер такси – укладывали их в постель; проснувшись, они чувствовали себя отлично, потому что выпили не так уж много, чтобы причинить вред организму.

Но потом они утратили это спасительное свойство. Теперь Зельда могла выпить больше, чем Скотт, и Скотт боялся, что она мертвецки напьется в компании, с которой они общались той весной, или в каком-нибудь из тех мест, какие они посещали. Ему не нравились ни эти люди, ни эти места, но ему приходилось пить столько, что он терял контроль над собой и терпел людей и места, где они бывали, а потом он уже пил, чтобы не заснуть, тогда как прежде давно бы впал в бесчувственное состояние. В конце концов он все реже и реже работал по-настоящему.

Но он все время пытался работать. Каждый день он пытался, однако у него ничего не получалось. Он винил Париж – город, лучше которого для писателей нет, и он верил, что есть место на земле, где ему с Зельдой удастся начать жизнь заново. Он вспоминал Ривьеру, какой она была, пока ее не застроили, голубые просторы ее моря, песчаные пляжи, сосновые рощи и Эстерельские горы, уходящие в море. Он помнил Ривьеру такой, какой она была, когда они с Зельдой впервые открыли ее.

Скотт рассказывал мне о Ривьере и говорил, что мы с женой должны непременно поехать туда следующим летом, и как мы будем там жить, и как он подыщет для нас недорогой пансионат, и как мы оба будем работать каждый день, купаться, валяться на песке, загорать и выпивать только по аперитиву перед обедом и перед ужином. Зельда будет счастлива там, сказал он. Она любит плавать и прекрасно ныряет – ей нравится такая жизнь, и она захочет, чтобы он работал, и все устроится. Они с Зельдой и дочкой непременно поедут туда летом.

Я пытался убедить его писать рассказы в полную силу, а не подгонять их к шаблонам, как, по его словам, он делал.

– Вы же написали прекрасный роман, – сказал я ему, – и вы не имеете права писать дребедень.

– Но роман не расходуется, – ответил он, – и я должен писать рассказы, такие рассказы, которые можно продать.

– Напишите самый лучший рассказ, на какой вы только способны, и напишите его честно.

– Я так и сделаю, – сказал он.

Однако ему еще везло, что он вообще мог работать.

Зельда не поощряла тех, кто ее домогался. Но это ее развлекало, а Скотт ревновал и ходил с ней повсюду. Это губило его работу, а она больше всего ревновала его к работе.

Весь конец весны и начало лета Скотт пытался работать, но ему удавалось это только урывками. Когда я виделся с ним, он всегда был весел, иногда надрывно весел, остроумно шутил и был хорошим собеседником. Когда наступали особенно черные дни, я выслушивал его жалобы и старался внушить ему, что стоит только заставить себя, и он снова будет писать так, как он может писать, и что только смерть непоправима. Он посмеивался над собой, и пока он был способен на это, я считал, что он в безопасности. За это время он написал один очень хороший рассказ – «Богатый мальчик», и я был убежден, что он может писать даже лучше, как это потом и оказалось.

Летом мы были в Испании, и я начал первые наброски романа и

окончил его в сентябре уже в Париже. Скотт и Зельда жили на Антибском мысе, и осенью, когда мы встретились в Париже, я увидел, что Скотт очень изменился. Он не бросил пить на Ривьере, и теперь был пьян не только по вечерам, но и днем. Он уже не считался с тем, что другие работают, и приходил к нам на улицу Нотр-Дам-де-Шан и днем и вечером, когда бывал пьян. Он стал вести себя очень грубо с теми, кто стоял ниже его или кого он считал ниже себя.

Как-то он пришел на лесопилку с дочкой – у няни-англичанки был выходной день, и за ребенком смотрел Скотт, – и на лестнице девочка сказала ему, что ей нужно в уборную. Скотт стал раздевать ее тут же, и хозяин, живший над нами, вышел и сказал:

– Мосье, туалет прямо перед вами, слева от лестницы.

– Да, и я суну тебя туда головой, если ты не уберешься отсюда, — ответил Скотт.

С ним было очень трудно всю эту осень, но в трезвые часы он начал работать над романом. Я редко видел его трезвым, однако трезвый он всегда был мил, шутил по-старому и иногда даже по-старому подтрунивал над собой. Но когда он был пьян, он любил приходить ко мне и пьяный мешал мне работать почти с таким же удовольствием, какое испытывала Зельда, когда мешала ему. Это продолжалось несколько лет, но зато все эти годы у меня не было более преданного друга, чем Скотт, когда он бывал трезв.

В ту осень – осень 1925 года – он обижался, что я не хочу показать ему рукопись первого варианта «И восходит солнце». Я объяснил ему, что прежде я должен все прочесть сам и написать заново, а до этого не хочу ни обсуждать роман, ни показывать его кому бы то ни было. Мы собирались уехать в Шрунс – местечко в Форарльберге, в Австрии, – как только там выпадет первый снег.

Там я переделал первую половину романа и кончил эту работу, помнится, в январе. Я отвез рукопись в Нью-Йорк и показал Максу Перкинсу в издательстве «Скрибнерс», а потом вернулся в Шрунс и закончил работу над книгой. Скотт увидел роман только в конце апреля, когда он был полностью переработан и перекроен и отправлен в «Скрибнерс». Я помню, как мы шутили с ним по этому поводу и как он волновался и горел желанием мне помочь – как всегда, когда работа уже сделана. Но пока я переделывал книгу, его помощь мне была не нужна.

Пока мы жили в Форарльберге и я переделывал роман, Скотт с женой и дочкой уехали из Парижа на воды в Нижние Пиренеи. У Зельды началось весьма распространенное кишечное заболевание, которое вызывается

злоупотреблением шампанским и которое в те времена считалось колитом. Скотт не пил, он старался работать и звал нас в Жуан-де-Пэн в июне. Они подыщут для нас недорогую виллу, на этот раз он не станет пить, и все будет как в добрые старые времена: мы будем купаться, станем здоровыми и загорелыми и будем пить один аперитив перед обедом и один перед ужином. Зельда выздоровела, оба они чувствуют себя прекрасно, и его роман продвигается блестяще. Он должен получить деньги за инсценировку «Великого Гэтсби», идущую с большим успехом, и за право на экранизацию, и поэтому ему не о чем беспокоиться. Зельда чувствует себя великолепно, и все будет в порядке.

В мае я жил один в Мадриде, и работал, и отправился в Жуан-де-Пэн, куда я прибыл на поезде из Байонны в третьем классе и страшно голодный, потому что по собственной глупости остался без денег и последний раз ел в Андайе на франко-испанской границе. Вилла оказалась милой, Скотт жил неподалеку в чудесном доме, и я был рад увидеться со своей женой, которая прекрасно вела хозяйство на вилле, и с нашими друзьями; аперитив перед обедом был превосходен, и мы повторили его несколько раз. Вечером в нашу честь в «Казино» собралось общество – совсем небольшое: Маклиши, Мэрфи, Фицджеральды и мы, жившие на вилле. Никто не пил ничего, кроме шампанского, и я подумал, как здесь весело и как хорошо здесь писать. Тут было все, что нужно человеку, чтобы писать, – кроме одиночества.

Зельда была очень красива – золотистый загар, темно-золотистые волосы – и очень приветлива. Ее ястребиные глаза были ясны и спокойны. Я подумал, что все хорошо и что в конце концов все обойдется, но тут она наклонилась ко мне и открыла свою великую тайну: «Эрнест, вам не кажется, что Христу далеко до Эла Джолсона?»

Никто в то время не обратил на это внимания. Это был просто секрет Зельды, которым она поделилась со мной, как ястреб может поделиться чем-то с человеком. Но ястребы не делятся добычей.

Скотт не написал ничего хорошего, пока не понял, что Зельда помешалась.

Проблема телосложения

Много позже, уже после того, как Зельда перенесла свое первое так называемое нервное расстройство, мы как-то оказались одновременно в Париже, и Скотт пригласил меня пообедать с ним в ресторане Мишо на углу улицы Жакоб и улицы Святых Отцов. Он сказал, что ему надо спросить меня о чем-то очень важном, о том, что для него важнее всего на свете, и что я должен ответить ему честно. Я сказал, что постараюсь. Когда он просил меня сделать ему что-нибудь честно – а это не легко было сделать, и я пытался выполнить его просьбу, – то, что я говорил, сердило его, причем чаще всего уже потом, когда у него было время поразмыслить над моими словами. Он был бы рад их уничтожить, а иногда и меня вместе с ними.

За обедом он пил вино, но оно на него не подействовало, так как перед обедом он ничего не выпил. Мы говорили о нашей работе и о разных людях, и он спрашивал меня о тех, кого мы давно не встречали. Я знал, что он пишет что-то хорошее и по многим причинам работа у него не ладится, но говорить он хотел со мной не об этом. Я все ждал, когда же он перейдет к тому, о чем я должен сказать ему правду, но он коснулся этой темы только в самом конце, словно это был деловой обед.

Наконец, когда мы ели вишневый торт и допивали последний графин вина, он сказал:

– Ты знаешь, я никогда не спал ни с кем, кроме Зельды.

– Нет, я этого не знал.

– Мне казалось, что я говорил тебе.

– Нет. Ты говорил мне о многом, но не об этом.

– Вот про это я и хотел спросить тебя.

– Хорошо. Я слушаю.

– Зельда сказала, что я сложен так, что не могу сделать счастливой ни одну женщину, и первопричина ее болезни – в этом. Она сказала, что все дело в моем телосложении. С тех пор как она мне это сказала, я не нахожу себе места и хочу знать правду.

– Пойдем в кабинет, – сказал я.

– Куда?

– В туалет, – сказал я.

Мы вернулись в зал и сели за свой столик.

– Ты совершенно нормально сложен, – сказал я. – Абсолютно. И тебе

не о чем беспокоиться. Просто, когда смотришь сверху, все уменьшается. Пойди в Лувр и погляди на статуи, а потом приди домой и посмотри на себя в зеркало.

– Эти статуи могут быть непропорциональны.

– Нет, они очень неплохи. Многих людей вполне удовлетворило бы такое телосложение.

– Но почему она так сказала?

– Для того чтобы сбить тебя с толку. Это древнейший в мире способ сбить человека с толку. Скотт, ты просил меня сказать тебе правду, и я мог бы сказать тебе значительно больше, но это правда, и остальное не важно. Можешь сходить к доктору.

– Не хочу. Я хотел, чтобы ты сказал мне честно.

– Теперь ты веришь мне?

– Не знаю, – сказал он.

– Пошли в Лувр, – сказал я. – Он совсем рядом, только перейти мост.

Мы пошли в Лувр, и он посмотрел на статуи, но все еще сомневался.

– Одна девушка, – сказал он, – была очень мила со мной. Но после того, что сказала Зельда...

– Забудь о том, что сказала Зельда, – посоветовал я. – Зельда сумасшедшая. Ты абсолютно нормальный человек. Просто поверь в себя и сделай то, чего хочет эта девушка. Зельда просто погубит тебя.

– Ты ничего не знаешь о Зельде.

– Ну хорошо, – сказал я. – Остановимся на этом. Но ты пришел обедать для того, чтобы задать мне вопрос, и я попытался ответить тебе честно.

Но он все еще сомневался.

– Хочешь, посмотрим картины, – предложил я. – Ты видел здесь что-нибудь, кроме Моны Лизы?

– У меня нет настроения смотреть картины, – сказал он. – Я обещал кое с кем встретиться в баре «Ритц».

Много лет спустя в баре «Ритц», когда уже давно кончилась вторая мировая война, Жорж, который стал теперь старшим барменом, а в те дни, когда Скотт жил в Париже, был [chasseur](#)⁴², спросил меня:

– А кем был этот мосье Фицджеральд, о котором все меня спрашивают?

– Разве вы не знали его?

– Нет. Я помню всех клиентов того времени. Но теперь меня спрашивают только о нем.

– И что вы отвечаете?

– Что-нибудь интересное, что им любопытно услышать. Но скажите, кем же он был?

– Это был американский писатель, который писал в начале двадцатых годов и позже и некоторое время жил в Париже и за границей.

– Но почему я его не помню? Он был хороший писатель?

– Он написал две очень хорошие книги и одну не закончил, но те, кто хорошо знает его творчество, говорят, что она была бы очень хорошей. Кроме того, он написал несколько хороших рассказов.

– Он часто бывал в нашем баре?

– Кажется, часто.

– Но вы не бывали у нас в начале двадцатых годов. Я знаю, что в те годы вы были бедны и жили в другом квартале.

– Когда у меня были деньги, я ходил в «Крийон».

– Я знаю и это. Я очень хорошо помню, когда мы познакомились.

– Я тоже.

– Странно, что я совсем его не помню, – сказал Жорж.

– Все эти люди умерли.

– Однако людей не забывают, хоть они и умерли, и о нем меня все время спрашивают. Вы должны рассказать мне о нем что-нибудь для моих мемуаров.

– Хорошо.

– Я помню, как вы с бароном фон Бликсенем явились сюда однажды ночью... В каком это было году? – Он улыбнулся.

– Он тоже умер.

– Да. Но его забыть нельзя. Вы понимаете, о чем я говорю?

– Его первая жена прекрасно писала, – сказал я. – Она написала, пожалуй, самую лучшую книгу об Африке, какую мне приходилось читать. Кроме книги сэра Сэмюэля Бейкера о притоках Нила в Абиссинии. Включите это в свои мемуары. Раз вы теперь интересуетесь писателями.

– Хорошо, – сказал Жорж. – Барон был человеком, которого нельзя забыть. А как называлась эта книга?

– «Вне Африки», – сказал я. – Бликсен очень гордился тем, как писала его первая жена. Но мы познакомились задолго до того, как она написала эту книгу.

– А мосье Фицджеральд, о котором меня все время спрашивают?

– Он бывал тут во времена Фрэнка.

– Тогда я был *chasseur*. Вы ведь знаете, что такое *chasseur*?

– Я собираюсь написать о нем в книге о первых годах жизни в Париже, которую буду писать. Я дал себе слово, что напишу ее.

- Прекрасно, – сказал Жорж.
- Я опишу его таким, каким увидел впервые.
- Прекрасно, – сказал Жорж. – Раз он заходил сюда, я его вспомню.

Люди все-таки не забываются.

- А туристы?
- Это совсем другое. Но вы говорите, что он ходил сюда очень часто.
- Часто для него.
- Вы напишите о нем, как вы его помните, и раз он ходил сюда, я его вспомню.
- Посмотрим, – сказал я.

Париж никогда не кончается

Когда нас стало трое, а не просто двое, холод и дожди в конце концов выгнали нас зимой из Парижа. Если ты один, то можно к ним привыкнуть и они уже ничему не мешают. Я всегда мог пойти писать в кафе и работать все утро на одном *safe-greme*, пока официанты убирали и подметали, а в кафе постепенно становилось теплее. Моя жена могла играть на рояле в холодном помещении, надев на себя несколько свитеров, чтобы согреться, и возвращалась домой, чтобы покормить Бамби. Но брать ребенка в кафе зимой не полагается – даже такого ребенка, который никогда не плачет, интересуется всем происходящим и никогда не скучает. Тогда еще не было людей, которых можно было бы нанять присмотреть за ребенком, и Бамби лежал в своей высокой кроватке с сеткой в обществе большого преданного кота по кличке Ф. Кис. Кто-то говорил, что оставлять кошку наедине с младенцем опасно. Самые суеверные и предубежденные говорили, что кошка может прыгнуть на ребенка и задушить. Другие говорили, что кошка может лечь на ребенка и задавить его своей тяжестью. Ф. Кис лежал рядом с Бамби в его высокой кроватке с сеткой, пристально смотрел на дверь большими желтыми глазами и никого не подпускал к малышу, когда нас не было дома, а Мари, *femme de menage*⁴³, куда-нибудь выходила. Нам не нужно было никого приглашать присматривать за Бамби. За ним присматривал Ф. Кис.

Но когда ты беден – а мы были по-настоящему бедны, когда вернулись из Канады и я бросил журналистику и не мог продать ни одного рассказа, – зимой с ребенком в Париже приходится очень трудно. В возрасте трех месяцев мистер Бамби двенадцать дней плыл через Северную Атлантику на небольшом пароходе компании «Кюнارد», который отплыл из Нью-Йорка в январе и заходил в Галифакс. Он ни разу не заплакал в течение всего путешествия и весело смеялся, когда вокруг него на койке воздвигалась баррикада, чтобы в штормовую погоду он не скатился на пол. Но наш Париж был слишком холодным для него.

Мы уехали в Шрунс, местечко в Форарльберге, в Австрии. Проехали через Швейцарию и прибыли в Фельдкирх, на австрийской границе. Поезд шел через Лихтенштейн и останавливался в Блуденце, откуда вдоль речки с каменистым дном, где водилась форель, через лесистую долину мимо деревень шла ветка на Шрунс – залитый солнцем городок с лесопилками, лавками, гостиницами и хорошим зимним отелем, который назывался

«Таубе» и в котором мы жили.

Комнаты в «Таубе» были просторные и удобные, с большими печками, большими окнами и большими кроватями с хорошими одеялами и пуховыми перинами. Кормили там просто, но превосходно, а в столовой и баре, отделанном деревянными панелями, было тепло и уютно. В широкой и открытой долине было много солнца. Пансион стоил два доллара в день за нас троих, и, так как австрийский шиллинг все время падал из-за инфляции, стол и комната обходились нам все дешевле и дешевле. Однако такой ужасной инфляции и нищеты, как в Германии, здесь не было. Шиллинг то поднимался, то падал, но в конечном счете все же падал.

В Шрунсе не было лифтов для лыжников и не было фуникулеров, но по тропам лесорубов и пастухов можно было подняться высоко в горы. При подъеме к лыжам прикреплялись тюленьи шкурки. В горах стояли хижины Альпийского клуба – для тех, кто совершает восхождение летом. Там можно было переночевать, оставив плату за израсходованные дрова. Иногда дрова нужно было приносить с собой, а если ты отправлялся в многодневную прогулку высоко в горы к ледникам, приходилось нанимать кого-нибудь, чтобы поднять туда дрова и провизию и устроить там базу. Самыми знаменитыми из всех высокогорных хижин-баз были Линдауэр-Хютте, Мадленер-Хаус и Висбаденер-Хютте.

Позади «Таубе» находилось что-то вроде тренировочного спуска, по которому ты съезжал через сады и поля, и был еще другой удобный склон за Чуггунсом, по ту сторону долины, где была прелестная маленькая гостиница с прекрасной коллекцией рогов серны на стенах бара. И за Чуггунсом, деревней лесорубов, расположенной в дальнем конце долины, уходили вверх отличные лыжни, выводившие к перевалу, откуда через Сильвретту можно было спуститься в район Клостерса.

Шрунс был отличным местом для Бамби – хорошенькая темноволосая няня вывозила его в санках на солнце и присматривала за ним, пока мы с Хэдли исследовали новый край и все окрестные селенья. Жители Шрунса были очень добры к нам. Герр Вальтер Лент, пионер горнолыжного спорта, который одно время был партнером Ганнеса Шнейдера, великого арльбергского лыжника, и изготавливал лыжные мази для горных подъемов и для всех температур, теперь собирался открыть школу горнолыжного спорта, и мы оба записались в нее. Система Вальтера Лента заключалась в том, чтобы как можно быстрее покончить с занятиями на тренировочных спусках и отправить учеников в настоящие горы. В то время лыжный спорт не был похож на современный, спиральные переломы были редкостью, и никто не мог позволить себе сломать ногу. Лыжных патрулей не было.

Перед любым спуском надо было проделать подъем. И это так укрепляло ноги, что на них можно было положиться во время спуска.

Вальтер Лент считал, что в лыжном спорте самое большое удовольствие – забраться на высокую гору, где никого нет и лыжня не проложена, и ехать от одной хижины-базы Альпийского клуба к другой через альпийские ледники и перевалы. Нельзя было пользоваться и такими креплениями, которые при падении грозили переломом ног: лыжи должны были соскочить сразу же. Но больше всего Вальтер Лент любил спускаться с ледников без каната, однако для этого нужно было ждать весны, когда трещины закрываются достаточно плотно.

Мы с Хэдли увлекались лыжами с тех пор, как в первый раз попробовали этот вид спорта в Швейцарии, а потом в Кортина-д'Ампеццо в Доломитовых Альпах, когда должен был родиться Бамби и миланский доктор разрешил ей ходить на лыжах, если я пообещаю, что она не упадет. Для этого требовалось очень тщательно выбирать спуск и лыжню и все время следить за собой, но у нее были очень красивые, удивительно сильные ноги, и она прекрасно владела лыжами и ни разу не упала. Все мы знали, каким бывает снег, и умели ходить по глубокому пушистому снегу.

Нам очень нравилось в Форарльберге, и нам очень нравилось в Шрунсе. Мы уезжали туда в конце ноября и жили почти до пасхи. Там всегда можно было заняться лыжами, хотя для лыжного курорта Шрунс и расположен слишком низко, – в его окрестностях снега бывает достаточно только в самые снежные зимы. Однако взбираться в гору было удовольствием, и в те дни из-за этого никто не ворчал. Ты устанавливал для себя определенный темп, значительно ниже твоих возможностей, так что подниматься было легко, и сердце билось ровно, и ты гордился, что у тебя на спине тяжелый рюкзак. Подъем к Мадленер-Хаус был местами очень крут и тяжел. Но во второй раз подниматься было уже легче, и под конец ты легко взбирался, неся на спине двойной груз.

Мы всегда были голодны, и каждый обед был событием. Мы пили темное или светлое пиво и молодые вина, а иногда вина урожая прошлого года. Лучше всего были белые вина. Еще мы пили кирш, изготовлявшийся в долине, и анзенский шнапс, который гнали из горной горечавки. Иногда на обед подавали тушеного зайца с густым соусом из красного вина, а иногда оленину с каштановым соусом. В этих случаях мы обычно пили красное вино, хотя оно было дороже белого, но самое дорогое стоило по двадцать центов за литр. Обычное красное вино было намного дешевле, и мы тащили с собой бочонки в Мадленер-Хаус.

У нас был запас книг, которые Сильвия Бич разрешила нам взять с

собой на зиму; мы играли в кегли с горожанами в проулке, выходившем к летнему саду отеля. Раз в две недели в столовой отеля играли в покер – все окна тогда закрывали ставнями, а двери запирали. В то время в Австрии азартные игры были запрещены, и я играл с герром Нельсом – хозяином отеля, герром Лентом – директором школы горнолыжного спорта, городским банкиром, прокурором и капитаном жандармерии. Игра шла серьезная, и все они были хорошими игроками, хотя герр Лент играл слишком рискованно, потому что школа горнолыжного спорта не приносила никакого дохода. Когда у двери останавливались два жандарма, совершавшие обход, капитан жандармерии подносил палец к уху и мы замолкали до тех пор, пока они не уходили.

С рассветом, когда было еще очень холодно, в комнату входила горничная, закрывала окна и затапливала большую изразцовую печь. Комната согревалась, а на завтрак у нас был свежее испеченный хлеб или гренки с чудесными консервированными фруктами и кофе в больших чашках, свежие яйца, а если хотели, то и отличная ветчина. В ногах у меня спал пес по имени Шнаутс, который любил ходить со мной на лыжные прогулки и ехать у меня на плече, когда я начинал спуск. Он дружил и с мистером Бамби и, когда няня вывозила его на прогулку, бежал рядом с саночками.

В Шрунсе работалось замечательно. Я знаю это потому, что именно там мне пришлось сделать самую трудную работу в моей жизни, когда зимой 1925/26 года я превратил в роман первый вариант «И восходит солнце», набросанный за полтора месяца. Не помню точно, какие рассказы я написал там. Знаю только, что некоторые из них получились хорошо.

Я помню, как поскрипывал у нас под ногами снег, когда морозным вечером мы возвращались домой, вскинув лыжи и палки на плечо, и смотрели на огоньки городка, а потом вдруг начинали различать дома, и встречные говорили: «Gruss Gott»⁴⁴. В «Вайнштубе» всегда сидели крестьяне в башмаках с шипами и в одежде, которую носят горцы, в воздухе клубился табачный дым, а деревянные полы были исцарапаны шипами. Многие из молодых людей служили в австрийских полках, и один, которого звали Ганс – он работал на лесопилке, – был знаменитым охотником, и мы стали друзьями, потому что мы воевали в одних и тех же итальянских горах. Мы пили вино и хором пели песни горцев.

Я помню тропы, уходящие вверх через сады и поля над городком, и теплые фермы с огромными печками и штабелями дров в снегу. Женщины на кухне расчесывали шерсть и пряли из нее серую и черную пряжу. Прялка приводилась в движение ножной педалью, и пряжу не красили.

Черная пряжа была из шерсти черных овец. Шерсть была натуральной, ее не обезжиривали, и шапочки, свитеры и шарфы, которые вязала из нее Хэдли, никогда не промокали в снегу.

Как-то на рождество под руководством директора школы была поставлена пьеса Ганса Сакса. Это была хорошая пьеса, и я написал на нее рецензию в местную газету, а хозяин гостиницы перевел ее. На другой год немецкий морской офицер в отставке, с бритой головой и весь в шрамах, приехал, чтобы прочитать лекцию о Ютландской битве. Он показывал диапозитивы, изображавшие передвижение обоих флотов, рассказывал о трусости Джелико, пользовался вместо указки бильярдным кием и иногда приходил в такую ярость, что голос у него срывался. Директор школы боялся, что он проткнет кием экран. А потом бывший морской офицер никак не мог успокоиться, и все в «Вайнштубе» чувствовали себя неловко. С ним пили только прокурор и банкир, и они сидели за отдельным столиком. Герр Лент, который был родом с Рейна, не пожелал прийти на лекцию. Там сидели супруги из Вены, которые приехали, чтобы покататься на лыжах, но не хотели подниматься в горы и потом уехали в Цурс, где, как я слышал, были засыпаны лавиной. Муж сказал, что лектор – из числа тех свиней, которые уже погубили Германию и снова погубят ее через двадцать лет. Его жена сказала ему по-французски, чтобы он замолчал, – это маленькое местечко, и не известно, кто тебя слушает.

В тот год очень много людей погибло при снежных обвалах. Первая значительная катастрофа произошла за горами – в Лехе, в Арльберге. Компания немцев решила на рождественские каникулы покататься на лыжах вместе с герром Лентом. Снег в этом году выпал поздно, а склоны были все еще нагреты солнцем, когда начался первый большой снегопад. Снег был глубоким, пушистым и совсем не приставал к земле. Ходить на лыжах было очень опасно, и герр Лент телеграфировал берлинцам, чтобы они не приезжали. Но у них наступили каникулы, и они ничего не понимали в лыжном спорте и не боялись лавин. Они приехали в Лех, но герр Лент отказался идти с ними. Один из них назвал его трусом, и они сказали, что пойдут кататься без него. В конце концов он повел их к самому безопасному склону, какой только мог отыскать. Сам он спустился, а за ним начали спускаться они, и снег на склоне разом обрушился, накрыв их, словно приливная волна. Тринадцать человек откопали, но девять из них были мертвы. Школа горнолыжного спорта и до этого не преуспевала, а после мы остались, пожалуй, единственными учениками. Мы стали усердно изучать лавины и узнали, как различать и как избегать их и как вести себя, если тебя засыплет. В тот год почти все, что я написал, было

написано в период снежных обвалов.

Самое страшное мое воспоминание об этой зиме связано с человеком, которого откопали. Он, как нас учили, присел на корточки и согнул руки над головой, чтобы образовалось воздушное пространство, когда на тебя наваливается сверху снег. Это была большая лавина, и потребовалось очень много времени, чтобы всех откопать, а этого человека нашли последним. Он умер совсем недавно, и шея его была стерта так, что виднелись сухожилия и кости. Он все время поворачивал голову, и шея его терлась о твердый снег. По-видимому, лавина вместе со свежим снегом увлекла старый, плотно слежавшийся. Мы так и не могли решить, делал ли он это нарочно или потому, что помешался. Однако местный священник все равно отказался похоронить его в священной земле, потому что не было известно, католик он или нет.

Когда мы жили в Шрунсе, мы часто совершали длинные прогулки вверх по долине до гостиницы, где ночевали перед восхождением к Мадленер-Хаус. Это была очень красивая старинная гостиница, и деревянные стены комнаты, где мы ели и пили, за долгие годы стали точно отполированные. Такими же были стол и стулья. Мы спали, прижавшись друг к другу, в большой кровати под пуховой периной, а окна были открыты, и звезды были такие близкие и яркие. Утром после завтрака мы распределяли поклажу и начинали восхождение в темноте, а звезды были такие близкие и яркие, и мы несли лыжи на плечах. Лыжи у носильщиков были короткие, и они несли самую тяжелую поклажу. Мы соревновались между собой в том, кто понесет самый тяжелый груз, но никто не мог тягаться с носильщиками, коренастыми молчаливыми крестьянами, которые говорили только на монтафонском диалекте, поднимались с неторопливым упорством вьючных лошадей, а наверху, на выступе у покрытого снегом ледника, где стояла хижина Альпийского клуба, сбрасывали вьюки у ее каменной стены, требовали больше денег, чем было уговорено, и, сторговавшись, уносились на своих коротких лыжах вниз, словно гномы.

Мы дружили с молодой немкой, которая ходила с нами на лыжах. Она была хорошей лыжницей, небольшого роста, прекрасно сложена и брала рюкзак такой же тяжелой, как у меня, и могла нести его дольше.

— Эти носильщики всегда поглядывают на нас так, словно прикидывают, как будут они нести вниз наши трупы, — сказала она. — Я еще никогда не слыхала, чтобы они назначили одну цену, а после восхождения не попросили надбавки.

Зимой в Шрунсе я носил бороду для защиты от солнца, которое

обжигало на снегу в горах, и не затруднял себя стрижкой. Как-то поздно вечером, спускаясь со мной по тропе лесорубов, герр Лент сказал мне, что крестьяне, встречавшиеся мне на дорогах под Шрунсом, называли меня «Черный Христос». А те, которые приходят в «Вайнштубе», называют меня «Черный Христос, Пьющий Кирш». Для тех же крестьян, которые жили в дальнем верхнем конце Монтафока, где мы нанимали носильщиков, чтобы подняться к Мадленер-Хаус, мы все были чужеземными чертями, которые уходят в горы, когда людям не следует туда ходить. Не в нашу пользу говорило и то, что мы начинали восхождение до рассвета, чтобы пройти места обвалов до того, как солнце сделает их особенно опасными. Это только доказывало, что мы хитры, как все чужеземные черти.

Я помню запах соснового леса и матрацы, набитые листьями бука, в хижинах дровосеков, и лыжные прогулки в лесу по лисьим и заячьим следам. Помню, высоко в горах, за поясом лесов, я шел по следу лисицы до тех пор, пока не увидел ее, и я смотрел, как она остановилась, приподняв правую переднюю лапу, а потом замерла и прыгнула, и помню белизну и хлопанье крыльев горной куропатки, с шумом поднявшейся из снега и скрывшейся за скалой.

Я помню все виды снега, которые может создать ветер, и все ловушки, которые он таит для лыжников. И метели, которые налетали, пока мы сидели в хижине Альпийского клуба и создавали новый, неизвестный мир, в котором нам приходилось прокладывать путь так осторожно, словно мы никогда прежде здесь не бывали. Но мы действительно никогда прежде здесь не бывали, потому что все вокруг становилось новым. Наконец, поближе к весне, наступало главное: спуск по леднику, гладкий и прямой, бесконечно прямой, – лишь бы выдержали ноги, – и мы неслись, низко пригнувшись, сомкнув лодыжки, отдавшись скорости в этом бесконечном падении, в бесшумном шипении снежной пыли. Это было лучше любого полета, лучше всего на свете, а необходимую закалку мы приобретали во время долгих восхождений с тяжелыми рюкзаками. Иначе мы не могли добраться наверх: билеты туда не продавались. Ради этого мы тренировались всю зиму, и то, чему учила нас зима, делало достижение этой цели возможным.

Когда мы проводили наш последний год в горах, в нашу жизнь уже глубоко вошли новые люди. И все переменялось. Зима лавин была счастливой и невинной зимой детства по сравнению со следующей зимой, зимой кошмаров под личиной веселья, и сменившим ее убийственным летом. Это был год, когда туда явились богачи.

У богачей всегда есть своя рыба-лоцман, которая разведывает им

путь, – иногда она плохо слышит, иногда плохо видит, но всегда вынюхивает податливых и чересчур вежливых. Рыба-лоцман говорит так: «Ну, не знаю. Нет, не очень. Но они оба мне очень нравятся. Они мне очень нравятся. Черт возьми, Хем, они мне правда нравятся. Я понимаю, на что вы намекаете, но мне они правда нравятся, и в ней есть что-то неотразимое. (Он называет ее по имени, смакуя его.) Ну, Хем, не капризничайте и не упрямитесь. Они мне правда нравятся. Честное слово, оба нравятся. Он вам понравится (он называет его слащавое прозвище), когда вы познакомитесь с ним поближе. Нет, право же, они мне оба нравятся».

А потом появляются богачи, и все безвозвратно меняется. Рыба-лоцман, конечно, исчезает. Этот человек всегда куда-то едет или откуда-то возвращается и нигде не задерживается надолго. Он появляется и исчезает в политике или в театре точно так же, как он появляется и исчезает в разных странах и в жизни людей, пока он молод.

Его невозможно поймать, и богачи его не ловят. Его никто не ловит, а пойманными оказываются только те, кто доверится ему, и они гибнут. Он обладает незаменимой закалкой сукина сына и томится любовью к деньгам, которая долго остается безответной. Затем он сам становится богачом и передвигается вправо на ширину доллара с каждым добытым долларом.

Эти богачи любили его и доверяли ему, потому что он был застенчив, забавен, неуловим, уже подвизался в своей области, а также потому, что он был рыбой-лоцманом с безошибочным чутьем. Когда два человека любят друг друга, когда они счастливы и веселы и один или оба создают что-то по-настоящему хорошее, они притягивают людей так же неотразимо, как яркий маяк притягивает ночью перелетных птиц. Если бы эти двое были бы так же прочны, как маяк, то разбивались бы только птицы. Те, чье счастье и успешная работа привлекают людей, обычно неопытны и наивны. Они не умеют противостоять напору и не умеют вовремя уйти. У них не всегда есть защита от добрых, милых, обаятельных, благородных, чутких богачей, которые так скоро завоевывают любовь, лишены недостатков, каждый день превращают в фиесту, а насытившись, уходят дальше, оставляя позади мертвую пустыню, какой не оставляли копыта коней Аттилы.

Богачи явились, приведенные рыбой-лоцманом. Еще год назад они бы не приехали. Тогда не было уверенности. Работа шла так же хорошо, а счастья было даже больше, но роман еще не был написан, и поэтому у них не было уверенности. Они расходовали свое время и свое обаяние только наверняка. А как же иначе? Пикассо был верной картой – и еще до того, как они вообще услышали, что существует живопись. Они были уверены и в другом художнике. И еще во многих других. И теперь у них уже появилась

уверенность. Рыба-лоцман дала им знать, что путь открыт, и сама тоже явилась, чтобы мы не встретили их, как чужих, и чтобы я не закапризничал. Ведь рыба-лоцман была тогда нашим другом.

В те дни я верил рыбе-лоцману так же, как верил «Исправленному изданию навигационных инструкций Гидрографического управления для Средиземного моря» или таблицам «Навигационного альманаха Брауна». Поддавшись обаянию этих богачей, я стал доверчивым и глупым, как пойнтер, который готов идти за любым человеком с ружьем, или как дрессированная цирковая свинья, которая наконец нашла кого-то, кто ее любит и ценит ради ее самой. То, что каждый день нужно превращать в фиесту, показалось мне чудесным открытием. Я даже прочел вслух отрывок из романа, над которым работал, а ниже этого никакой писатель пасть не может, и для него как для писателя это опаснее, чем непривязанным съезжать на лыжах по леднику до того, как все трещины закроет толстый слой зимнего снега.

Когда они говорили: «Это гениально, Эрнест. Правда гениально. Вы просто не понимаете, что это такое», – я радостно вилял хвостом и нырял в представление о жизни как о непрерывной фиесте, рассчитывая вынести на берег какую-нибудь прелестную палку, вместо того чтобы подумать: «Этим сукиным детям роман нравится – что же в нем плохо?» Я так бы и подумал, если бы вел себя как профессионал, но если бы я вел себя как профессионал, я никогда не стал бы читать им роман.

Но до того как приехали эти богачи, к нам уже проникли другие богачи, которые прибегли к способу, старому как мир. Он заключается в том, что молодая незамужняя женщина временно становится лучшей подругой молодой замужней женщины, приезжает погостить к мужу и жене, а потом незаметно, невинно и неумолимо делает все, чтобы женить мужа на себе. Когда муж – писатель и занят трудной работой, так что он почти все время занят и большую часть дня не может быть ни собеседником, ни спутником своей жены, появление такой подруги имеет свои преимущества, пока не выясняется, к чему оно ведет. Когда муж кончает работу, рядом с ним оказываются две привлекательные женщины. Одна – непривычная и загадочная, и, если ему не повезет, он будет любить обеих.

И тогда вместо них двоих и их ребенка их становится трое. Сначала это бодрит и радует, и некоторое время все так и идет. Все по-настоящему плохое начинается с самого невинного. И ты живешь настоящим днем, наслаждаешься тем, что имеешь, и ни о чем не думаешь. Ты лжешь, и тебе это отвратительно, и тебя это губит, и каждый день грозит все большей

опасностью, но ты живешь лишь настоящим днем, как на войне.

Мне пришлось уехать из Шрунса и отправиться в Нью-Йорк, чтобы уладить вопрос с издателями. Я закончил дела в Нью-Йорке, а когда вернулся в Париж, мне следовало сесть на первый же поезд, который отправлялся в Австрию с Восточного вокзала. Но женщина, в которую я был влюблен, была тогда в Париже, и я не сел ни в первый, ни во второй, ни в третий поезд.

Когда поезд замедлил ход у штабеля бревен на станции и я снова увидел свою жену у самых путей, я подумал, что лучше мне было умереть, чем любить кого-то другого, кроме нее. Она улыбалась, а солнце освещало ее милое, загоревшее от солнца и снега лицо и красивую фигуру и превращало ее волосы в червонное золото, а около нее стоял мистер Бамби, пухленький светловолосый, со щеками, разрумяненными морозом, – настоящий уроженец Форарльберга.

– Ах, Тэти, – сказала она, когда я обнял ее, – ты вернулся, и ты так хорошо съездил. Я люблю тебя, и мы очень без тебя скучали.

Я любил только ее и никого больше, и пока мы оставались вдвоем, жизнь была снова волшебной. Я хорошо работал, мы уходили в дальние прогулки, и я думал, что мы снова неуязвимы, – и только когда поздней весной мы покинули горы и вернулись в Париж, то, другое, началось снова.

Так кончился первый период моей жизни в Париже. Париж уже никогда не станет таким, каким был прежде, хотя он всегда оставался Парижем и ты менялся вместе с ним. Мы больше не ездили в Форарльберг, и богачи тоже не ездили.

Париж никогда не кончается, и каждый, кто там жил, помнит его по-своему. Мы всегда возвращались туда, кем бы мы ни были и как бы он ни изменился, как бы трудно или легко ни было попасть туда. Париж стоит этого, и ты всегда получал сполна за все, что отдавал ему. И таким был Париж в те далекие дни, когда мы были очень бедны и очень счастливы.

Примечания

1

Жилец (франц.).

2

Кофе с молоком (франц.).

3

Португальские устрицы (франц.).

4

Потерянное поколение (франц.).

5

«Шлюз № 1» и «Дом на канале» (франц.).

6

«Весенние ручьи». – Прим. автора.

7

Серьезен (франц.).

8

Долой Вильгельма! (франц.).

9

Кофе со сливками (франц.).

10

Телячья печенька (франц.).

11

Коридорный (франц.).

12

Жареная рыба (франц.).

13

Аутсайдер – скаковая или беговая лошадь, не являющаяся фаворитом.

14

Крабы по-мексикански (франц.).

15

Говяжье филе, завернутое наподобие рулета (франц.).

16

Гонка за лидером (франц.).

17

Лидеры (франц.).

18

Сиу – одно из индейских племен.

19

Письмо, посланное по пневматической почте (франц.).

20

Пивной бар (франц.).

21

Коньяк с водой (франц.)

22

Дежурное блюдо (франц.)

23

Рагу из мяса или дичи с бобами, приготовленное в горшочке (франц.).

24

Полкружки светлого (франц.).

25

Кукла (франц.).

26

Законная (франц.).

27

Постоянная (франц.).

28

Молодой человек (франц.).

29

Буквально – блестящий ум (франц.).

30

Обязательно (франц.).

31

Метрдотель по винам в ресторане (франц.).

32

Э р н е с т. – По-английски это имя созвучно слову, означающему: убежденный, честный.

33

«Пармская обитель» (франц.).

34

Няня (франц.).

35

Слушаюсь (франц.).

36

Мосье Даннинг влез на крышу и категорически отказывается спуститься (франц.).

37

Ремесло (франц.).

38

Мясной магазин (франц.).

39

Лимонный сок (франц.).

40

Преступления, мошенничества, скандалы (франц.).

41

Пулярка по-бресски (франц.).

42

Вышибала (франц.).

43

Прислуга (франц.).

44

Здравствуйте (нем.).